

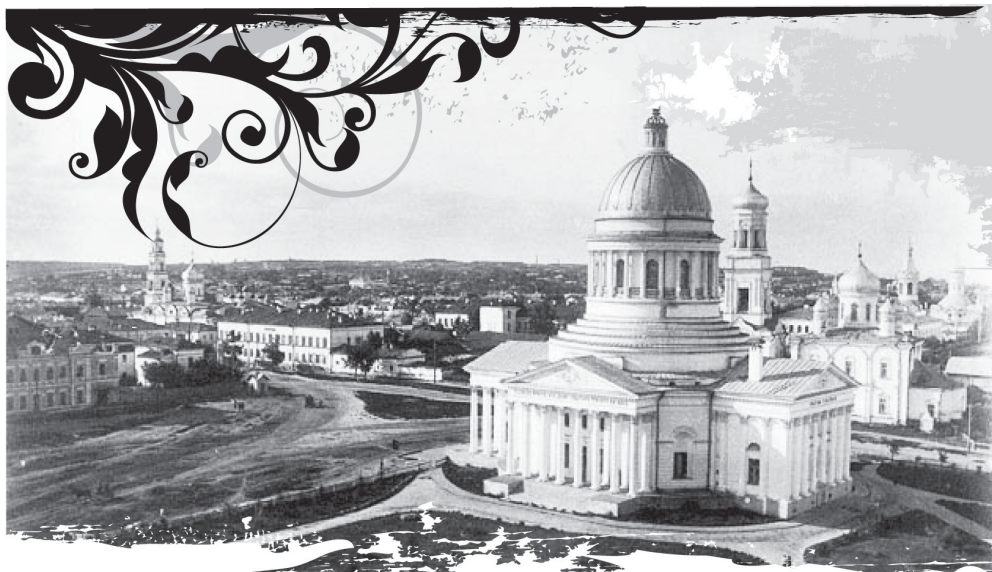


СИМБИРСКЪ

№7 (61)
ИЮЛЬ
2018



Литературный журнал
«СИМБИРСКЪ»



Содержание

Главный редактор
Елена Викторовна Водкина
(Кувшинникова)
E-mail: karamz_sad@mail.ru
Телефон 89603693212



Редакционный совет:

Председатель – Владимир Лучников
Владимир Артамонов
Александра Белова
Ольга Даранова
Александр Лайков
Виктор Малахов
Светлана Матлина
Николай Марянин
Ольга Шейпак
Юрий Шерстнев
Татьяна Эйхман



Издание осуществлено при поддержке
губернатора Ульяновской области
Сергея Ивановича Морозова

Издатель: Областное государственное автономное
учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда».
Адрес издателя, адрес редакции:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Подписано в печать 05.07.2018 г.
Дата выхода 13.07.2018 г.
Тираж 700 экз. Заказ №167.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Сити Принт», 610040, г. Киров,
ул. Мостовая, 32/16, т. (8332) 228-297,
сайт: www.printtown.ru

© Литературный журнал «СИБИРСКИЙ» №7 (61), 2018

Издание зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области
ПИ №ТУ 73-00350 от 21 марта 2014 г.
Учредитель: Областное государственное автономное
учреждение «Издательский дом «Ульяновская правда»

© Дизайн, компьютерная верстка – Ольга Тюльпа
Корректоры – Ольга Абрамова, Ксения Нечаева

Фотография на обложке:
Евгений Софронов. «Утренняя рыбалка».

Вступительное слово.....	3
Литературное наследие	
Сергей Серягин. Знакомство Н.В. Гоголя с И.И. Дмитриевым.....	4-5
При свете Пушкинского слова	
Маргарита Подымова. Друзья мои, прекрасен наш союз.....	6-9
Страна поэзия	
Светлана Матлина. Песня – радость нечаянная. Стихи.....	10-14
Гость	
У нас в гостях липецкие писатели	15
Андрей Новиков. Стихи.....	16-17
Александр Пономарев. Рассказы.....	18-21
Ветер странствий	
Владимир Кочетков. Звезды над Буэнос-Айресом. Фантастическая повесть.....	22-30
С любовью ко всему родному	
Светлана Нефедова. Пятьдесят лет областной фотовыставке.....	31-40
Вручение Гончаровской премии.....	41
Ностальгия по малой родине. Вступительное слово Николая Марянина.....	42
Виктор Морозов. Моя душа в стихах живет. Стихи.....	43-45
Книжная полка	
Ольга Даранова. Синяя весна Владимира Луговского.....	46-53
Река воспоминаний	
Александр Осипов. Моя слобода.....	54-59
Память сердца	
Вы этой тоски не поймете... Вступительное слово Андрея Антипина Вадим Ярцев. «И все-таки живем...» Стихи.....	60-64
Архив	
Автограф Благова.....	65-66
Дорога к храму	
Валентин Курбатов. Наше небесное Отечество.....	67-90
Юбилейный календарь.....	91-96

Внимание! Теперь читать любимые издания стало возможным с монитора компьютера, экрана телефона и планшета! С марта 2017 года можно оформить не только почтовую, но и электронную подписку на газеты «Ульяновская правда», «Народная газета», «Чемпион» и журналы «Мономах», «Симбирск», «Симбик». Подробности, цены и пошаговая инструкция на информационном портале ulpravda.ru. Электронная подписка – оперативно, современно, выгодно!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

можно тремя способами:

1) Подпишитесь на почте
и журнал принесут вам домой:

– цена на 6 мес. – 528,00 руб., индекс издания 54516

– цена на 12 мес. – 1057,00 руб., индекс издания 54526

2) Подпишитесь в редакции и заберите журнал сами

по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11;

пр-т Ленинского Комсомола, 41, ком. 204 (Новый город).

(цена на 6 мес. – 348,00 руб.)

г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, 107

(тел. 884(235) 3-26-49)

3) Подпишитесь через ООО «Урал-Пресс Поволжье»
тел. 41-01-41

Журнал «Симбирск» можно приобрести

в киосках «Симбирская печать»

и в отделе распространения по адресу:

ул. Пушкинская, 11.

По всем вопросам подписки

на журнал (в том числе альтернативной) можно
проконсультироваться по телефону

41-04-32

Рукописи принимаются только в электронном виде, не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность представленных материалов.

Мнения автора и редакции могут не совпадать.

При перепечатке ссылка на «Симбирск» обязательна.



СТОЯЛ ИЮЛЬ, РЖАНОЙ И ВАСИЛЬКОВЫЙ...

В июльском номере журнала «Симбирскъ» – стихи и проза, статьи и очерки, хроника культурных событий и литературный юбилейный календарь.

В рубрике «Литературное наследие» – публикация краеведа Сергея Серягина о знакомстве Николая Гоголя и симбирянина Ивана Дмитриева.

В июне отмечался Пушкинский день России. В Доме Гончарова прошел литературно-музыкальный вечер, организованный по инициативе преподавателей детской школы искусств № 4. Об этом на страницах журнала рассказывает Маргарита Подымова.

В рубрике «Страна поэзия» публикуем подборку из новой книги стихов известного поэта Светланы Матлиной.

В поэтических строчках звучит пушкинская тема: «И с легкою душой я в Болдино вступаю.

Лишь листьев мягкий звон сопутствует шагам.

Разлита всюду здесь поэзия родная,

Дыхание ее подобно ветеркам...».

Мы рады приветствовать гостей «Симбирска» – писателей из Липецка Андрея Новикова и Александра Пономарева. Надеемся на продолжение творческого сотрудничества!

В рубрике «Ветер странствий» начинаем публикацию повести для детей Владимира Кочеткова «Звезды над Буэнос-Айресом».

Недавно состоялось открытие традиционной областной фотовыставки. Выставка юбилейная, она организована в 50-й раз. Лучшие фотографии представлены на цветной вкладке журнала. Вступительное слово Светланы Нефедовой.

В июне в Ульяновске широко отмечается день рождения Ивана Александровича Гончарова. В череде праздничных мероприятий особо торжественно проходит церемония награждения лауреатов Гончаровской премии. О том, кому вручена премия на этот раз, читайте в нашей тематической публикации.

Николай Марянин знакомит читателей с творчеством ушедшего поэта Виктора Морозова из Радищевского района Ульяновской области. Читайте поэтическую подборку «В моих стихах душа живет».

Мы продолжаем публикации из авторского цикла Ольги Дарановой «Голоса из хора. Русская поэзия XX века». На этот раз расскажем о поэте Владимире Луговском.

В одном из писем к Луговскому Александр Феде-

ев писал: «С каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе – о том, что ты существуешь на свете и что ты – мой друг...».

«Существует на свете» творческое наследие поэта – откройте книги Луговского, станьте читателем его стихов.

В разделе «Река воспоминаний» читайте автобиографические записки Александра Осипова.

«Когда я закрываю глаза, мне видится мое родное село Барышская Слобода того времени, красивее которого я не видел нигде и никогда и которого, к великому сожалению, теперь не существует...».

В рубрике «Память сердца» писатель Андрей Антипин рассказывает читателям «Симбирска» об ушедшем поэте Вадиме Ярцеве. Мы публикуем подборку «И все-таки живем...». Это «трудная лирика», но нет сомнения, что перед нами поэт. Сам Вадим Ярцев писал о себе так: «Нашему поколению очень не повезло. Воспитанные в советских традициях, мы в большинстве не были готовы к новым временам, жестким и циничным... В своих стихах я попытался выразить мироощущение своего поколения...».

В разделе «Дорога к храму» продолжаем публикацию книги Валентина Курбатова о путешествии по святым местам «Наше небесное Отечество».

Завершает номер юбилейный календарь, подготовленный поэтом и краеведом Николаем Маряниным.

Светлана Гужева – дочь ульяновского писателя Александра Кузнецова предоставила редакции автограф замечательного поэта Николая Благова. Это дарственная надпись на книге стихов, написанная в духе пушкинского понимания дружества. Поистине

«Издравле сладостный союз

Поэтов меж собой связует...».

Писатели, поэты особенно чутко ощущают жизнь, отражают все ее проявления в стихах и прозе.

«Слышишь – варево жизни кипит, как в котле, –
Это корни ворочаются в земле,
Это травы ползут, это почки шуршат,
Это юность весны потревожила сад...».

В. Луговской

Источник творчества не иссякает!

Елена КУВШИННИКОВА



ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

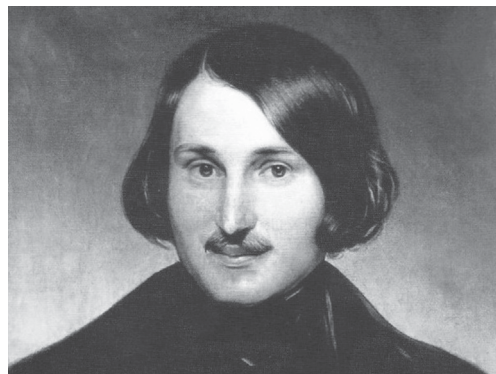
Сергей СЕРЯГИН, краевед

ПРИНЯЛ ЕГО СО ВСЕЙ ЛЮБЕЗНОСТЬЮ СВОЕЮ...

(Знакомство Н.В. Гоголя с И.И. Дмитриевым)



И.И. Дмитриев



Н.В. Гоголь

Представляет определенный интерес знакомство Гоголя с И.И. Дмитриевым. Современник вспоминает: «Летом 1832 года проездом через Москву в Малороссию на каникулярное время Гоголь с друзьями остановились в гостинице, где удостоились визита И.И. Дмитриева: *старик желал лично познакомиться с Гоголем, с которым и познакомился, и очень любезно, и пригласил на вечер.*¹ Также их знакомство отмечает П.А. Плетнев, в декабре 1832 г., он пишет В.А. Жуковскому: «Гоголь нынешним летом ездил на родину. В Москве он виделся с И.И. Дмитриевым, который принял его со всей любезностью своею».² В бумагах П.А. Вяземского сохранился рассказ о впечатлении, произведенном молодым Гоголем на

И.И. Дмитриева. Встреча с Гоголем возбудила в нем (И.И. Дмитриеве – С.С.) даже радость «О-о! Да он так и смотрит Гоголем, – сказал он, проводивши почти до дверей автора «Мертвых душ», – завтра же пошлю за его сочинениями и перечту их снова. У него и теперь много авторского запаса. Я благодарен, что меня ознакомили с этим молодым человеком. Я очень доволен, что его узнал: в нем будет прок».³

Но, конечно же, еще большее впечатление произвела встреча на юного литератора. Из Васильевки Гоголь пишет Дмитриеву письмо: «Приехавши на место, я почел долгом писать к вам. Мне кажется, я вижу вас в ту самую минуту, когда вы радушно протянули руку еще безызвестному и не доверяющему себе автору. С надеждой на скорую встречу: через три или четыре месяца я снова увижусь с вами, которой, впрочем, не суждено состояться: Я очень виноват перед вашим высокопревосходительством. Никаким образом не удалось мне быть у вас перед выездом моим в Петербург».⁴

Иных писем Гоголя Дмитриеву или Дмитриева Гоголю, а равно иных упоминаний об их знакомстве не сохранилось. Но тем интереснее следующее сообщение мемуариста: «На вечере у Дмитриева собралось человек двадцать пять московских литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаменитый Щепкин с дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть «Женитьбу». По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с такой неподражаемой интонацией и мимикой, что слушатели приходили в восторг. Кончил Гоголь и свистнул».⁵

Несмотря на обилие и восторг слушателей – это

единственное описание вечера. Но мнение гоголеведов единогласно – первые наброски к «Женитьбе» появились лишь в 1833 году, а сам факт чтения мог состояться не раньше, чем в 1835-м. Ошибка в датировке исключается – знакомство произошло именно в 1832 году, то есть, возможно, мемуарист смешивает в памяти два одновременных события. В 1835-м еще жив И.И. Дмитриев, еще не уехал за границу Гоголь, но нигде ни малейших упоминаний об этой новой встрече не обнаружено, наоборот – упоминается читка «Женитьбы» у Погодина. «Гоголь вез с собой из Петербурга комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда она называлась «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме у Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин, воспользовавшись этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая его зала была буквально набита битком».⁵

Так, может быть, закралась ошибка – на вечере у Дмитриева Гоголь читал не «Женитьбу», а какое-то другое произведение? Но свист в конце пьесы характерен именно для этого произведения. Или, может быть, спутали И.И. Дмитрива с М.П. Погодиным? Это также маловероятно – Дмитриев значительно старше М.П. Погодина. Вероятным здесь представляется приход Дмитриева в гости к М.П. Погодину. «В конце жизни Дмитриева Погодин был даже ласкаем им. Он часто посещал знаменитый дом на Спиридоновке и любовался прекрасной библиотекой Дмитриева. И.И. Дмитриев часто говорил Погодину об обязанности его написать похвальное слово Карамзину и взял даже с него честное слово исполнить это».⁶ В любом случае, можно говорить о еще одной встрече Н.В. Гоголя с патриархом русской поэзии.



Наша справка:

Иван Иванович Дмитриев – (21(10).09.1760, с. Богородское Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне село Троицкое Сызранского района Самарской области) – 15(03).10.1837, г. Москва), поэт, баснописец, автор сатирических произведений, государственный деятель, друг Н.М. Карамзина.

¹ Т.Г. Пашенко «Черты из жизни Гоголя» / Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952, с. 46.

² Сочинения и переписка П.А. Плетнева, т. 3, СПб, 1885, с. 522.

³ Цит. по: М.И. Гиллельсон и др. «Гоголь в Петербурге». Л., 1961 с. 115.

⁴ Н.В. Гоголь, письмо И.И. Дмитриеву, июль 1832 г. / собрание сочинений в 8 тт. М., 1984 с. 52.

⁵ Т.Г. Пашенко «Черты из жизни Гоголя» / Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952, с. 46.

⁶ С.Т. Аксаков «История моего знакомства с Гоголем».



ПРИ СВЕТЕ
ПУШКИНСКОГО СЛОВА

*В оформлении раздела
использованы рисунки
Льва НЕЦВЕТАЕВА*

Маргарита ПОДЫМОВА

ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

День Пушкина в Доме Гончарова

6 июня 2018 года в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова в рамках V Регионального Пушкинского фестиваля искусств «Под сенью дружных муз» прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Этот памятный вечер был организован детской школой искусств №4 города Ульяновска (автор проекта – М.В. Подымова) при поддержке Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска и ИМЦМ И.А. Гончарова. За пять лет существования фестиваля это уже девятый памятный вечер, который продолжил патриотическую, духовную и просветительскую миссию всех предшествующих вечеров.

6 июня 2018 года мы отметили 219 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика, заложившего основы русского реалистического направления, критика и теоретика литературы, историка, публициста, одного из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века – Александра Сергеевича Пушкина.

Вот таким многогранным талантом обладал Пушкин. Но в этот вечер участницы решили поговорить об одном его замечательном даре – таланте дружить, умении отдаваться дружбе всем сердцем и душой. Но и друзья у Пушкина были выдающиеся. Права пословица: « Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И первое имя, которое прозвучало, – Арина Родионовна Яковлева. Она вынырнула



Пушкина, была верной «подругой дней суровых» михайловского ссыльного, когда, испугавшись за свою репутацию (проживание вместе со ссыльным), Михайловское покинул отец Пушкина, уехав со скандалом. А ведь сына он не видел четыре года. Поэт с 1820 по 1824 год находился в Южной ссылке, а в 1824 году был отправлен под надзор полиции в родовое Михайловское имение без права выезда. До последнего дыхания Арина Родионовна самоотверженно любила своего питомца. И Александр пронес любовь и дружбу через всю жизнь, ведь в семье безусловную любовь ему дарила только няня. С раннего детства Саша понимал, что мать стыдится его неуклюжести, внешности арапчонка. Он видел разницу в отношении к нему и к младшему брату Левушке, которого безмерно любили и баловали и мать, и отец. Но что хочется отметить – да, Александр не посвятил матери ни одной строчки, но долг сына он исполнял безукоризненно, в отличие от младшего брата, помогал всегда. Именно он, а не баловень Левушка, провожал мать в последний путь. И к сестре Ольге, и к брату всю жизнь проявлял самую трогательную любовь и заботу. Никогда не попрекал брата, а часто было за что. Но вернемся к Арине Родионовне. И Александр, и его друзья, принявшие и полюбившие няню, посвящали ей стихотворения. Одно из них – «Наперсница волшебной старинны» Пушкин написал в 1822 году, находясь в Южной ссылке. Исполнил его на вечере Александр Лемехов, студент УлГУ, параллельно обучающийся в ДШИ №4 на театральном отделении у И.В. Филаретовой Пушкин записал со слов няни семь сказок. Одна из них послужила материалом для «Сказки о царе Салтане», которую поэт «расцвел» своей фантазией. Отрывки из этой сказки исполнили учащиеся ДШИ им. М.А. Балакирева: Мария Денисова, Татьяна Егоркина, Карина Короленко (преподаватель Е.А. Сафронова), Анна Овчинникова (преподаватель Н.В. Косарева). Отрывок из поучительной «Сказки о золотом петушке» исполнила Анна Марьина (ДШИ им. Балакирева).

В 1811 году Пушкин поступает в Царскосельский лицей. С этого времени начинает складываться его ближайший круг единомышленников, круг друзей, с которыми его разлучит только судьба. Через всю жизнь пронесет поэт в своем сердце дату 19 октября, день открытия Лицея. А мы читаем пронзительные строки в его стихах:

«Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,

И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я».

Лицейское братство – самая светлая глава биографии Пушкина. Куда бы «ни бросила судьбина» лицеистов первого выпуска, куда бы их «счастье не повело», они всегда обращались мыслью и сердцем к своему царскосельскому отечеству, к тем шести годам, когда в учении и чтении, в шалостях и забавах, в дружбе и ссорах формировалась личность каждого из них. Формировалось и мировоззрение – тот дух свободы, без которого не могло быть у нас ни величайшего национального поэта Пушкина, ни самоотверженных революционеров-декабристов Ивана Пущина и Вильгельма Кюхельбекера. Только Иван Пущин не побоялся приехать к опальному другу в Михайловское 11 января 1825 года, хотя его очень отговаривали даже друзья Пушкина. В 1826 году поэт посылает своему верному другу, находящемуся в тюрьме, стихотворение:

«Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!»

А 19 октября 1827 года поэт пожелал лицеистам:
«Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропасть земли!».

Последняя строка обращена к Пущину и Кюхельбекеру. Она дошла до Пущина, которому мы благодарны за необыкновенную книгу «Записки о Пушкине», написанную им в 1858 году, за год до смерти.

О великой силе любви, которая может сразить и силу зла, Пушкин написал в своем стихотворении «Ангел». Исполнил его Александр Лемехов.

Антон Антонович Дельвиг. В лицее зародилась дружба двух поэтов, и после лицея никто не был Пушкину ближе Дельвига. Юноша большого душевного

благородства, он был талантливым поэтом, и это особенно сблизило его с Пушкиным. Дельвигу было 16 лет, когда он написал стихотворение «Первая встреча». Положенное на музыку А. Даргомыжского, оно и в наши дни пользуется неизменной популярностью. На вечере романс «Шестнадцать лет» с большой нежностью исполнила солистка Ульяновской филармонии Эльмира Сидорова. Концертмейстер – А. Никонов, ДШИ им. А. Варламова.



Остро переживал Дельвиг ссылку Пушкина на Кавказ и посвятил ему трогательное стихотворение «Соловей». На вечере романс «Соловей» блестяще исполнила Эльмира Сидорова.

Близок Пушкину по духу был и Николай Языков, наш знаменитый земляк. В 1824 году, находясь в Михайловской ссылке, поэт приглашает Николая Языкова навестить его, посылая следующие строки:

«Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз,
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе».

Сильнейшее по патриотическому накалу стихотворение Н. Языкова «К не нашим» было проникновенно исполнено Александром Лемеховым.

Еще одной, не менее близкой к Пушкину группой друзей, сыгравшей неоценимую роль в его жизни и творчестве, были старшие современники – поэты, мыслители, общественные деятели: Василий Андреевич Жуковский, Николай Михайлович Карамзин, Петр Андреевич Вяземский, Александр Иванович Тургенев, Петр Яковлевич Чаадаев. Место Василия Жуковского в окружении Пушкина совершенно особое. Дело в том, что среди людей, интимно близких Пушкину, не было поэта, равновеликого Жуковскому. Это был поэт-учитель, поэт-предшественник и одновременно старший друг, вступающий за Пушкина во многих эпизодах его бурной короткой жизни. Один из первых биографов Пушкина Петр Иванович Бартенев писал: «Жуковский и Пушкин – люди не только разного, но почти противоположного характера... И несмотря на это, они связаны были тесною дружбою. Их уравнивало и соединяло единство призвания, и оба они оставили нам собою высокий пример верности этому призванию. Пушкину Жуковский был голосом вести и непрерывной святости». В стихотворении «К портрету Жуковского» Пушкин написал:

«Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость».

В исполнении Натальи Косаревой, преподавателя Детской школы искусств им. М.А. Балакирева, про-

звучало задушевное стихотворение Жуковского «Весеннее чувство».

Петр Андреевич Вяземский, русский поэт, историк, критик, переводчик, соучредитель и первый председатель Российского исторического общества. Его имя входило в пятерку самых популярных писателей того времени. Многие его цитаты превращались в поговорки, а стихи – в народные песни. В пушкинском

окружении Вяземский занимал одно из самых важных мест. Только к жене, Наталье Николаевне, сохранилось больше писем Пушкина, чем к Вяземскому. 74 печальных и радостных, восторженных и отчаянных, но всегда остроумных и откровенных письма Пушкина к Вяземскому – эта целая энциклопедия жизни и особенно литературных размышлений великого поэта. Сам Петр Андреевич вспоминал: «Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. По характеру моему я был более несговорчив, неподатлив; это различие между нами приводило нас нередко к разногласию и к прениям, если не к спорам. Спорили мы до упору, до охриплости». Но умение прощать всегда одерживало верх. О всепрощении, особенно среди друзей, написано Пушкиным очень мудрое, тонкое стихотворение «Коварность». Исполнил его на вечере Александр Лемехов. На стихи П. Вяземского ярко прозвучал романс «Радость-душечка» в исполнении Алены Гуляевой – солистки Ульяновской филармонии.

Александр Сергеевич Грибоедов – великолепный дипломат, талантливый писатель, музыкант, настоящий патриот, отдавший свою жизнь при исполнении миссии министра-резидента в Персии. А перед отъездом в Персию, летом 1828 года, в одном из питерских салонов Грибоедов исполнил услышанную им грузинскую песню. Она понравилась Глинке, который развил ее в законченную пьесу и в присутствии Пушкина исполнил друзьям. На замечания, что мелодии не достает слов, Пушкин написал стихотворение. Так возник романс «Не пой, красавица, при мне». На вечере его замечательно исполнила Алена Гуляева. Учащиеся ДШИ №4 Эвелина Царева и Кирилл Царев (класс преподавателя М.В. Подымовой) с нежностью исполнили вальс А. Грибоедова.

Михаил Глинка и Александр Пушкин. Их объединила огромная любовь к Родине, глубочайшая вера в русский народ. И композитор, и поэт горячо отстаивали приоритет русской национальной культуры. Оба создали новый русский язык – один в поэзии, другой в музыке. На вечере учащимися ДШИ №4 Машей Генераловой, Катей Акимкиной, Кристиной Норекиан, Аней Пеугиной (преподаватель М.В. Подымова) с большой эмоциональной отдачей были исполнены фрагменты из оперы М. Глинки «Иван Сусанин»: хор «Славься» и танец из польских сцен. В исполнении Кати Кургаевой (класс преподавателя Г.Н. Сотниковой, ДШИ №4) трогательно прозвучал «Мелодический вальс» М. Глинки.

Петр Ильич Чайковский, выдающийся русский композитор, очень высоко ценил творчество А. Пушкина. «Сквозь различие натур пробился он к своему обожаемому поэту». На вечере прозвучали яркие музыкальные фрагменты из оперы «Евгений Онегин» в исполнении Насти Скробач, Сони Кузнецовой (класс преподавателя М.В. Подымовой, ДШИ №4), М.М. Антоновой, Л.В. Петровой – преподавателями ОДШИ. Очень поэтично прозвучало «Письмо Татьяны» в исполнении Светланы Ключковой (класс преподавателя И.В. Филаретовой, ДШИ №4).

Необыкновенный образный мир пушкинской поэзии продолжает привлекать музыкантов разных стран и в наше непростое время. Очень сердечно, погружив слушателей в атмосферу золотого века, прозвучала пьеса «Сирень», написанная американским композитором Д. Картни и исполненная Львом Романовым (класс преподавателя Л.Н. Пономаревой, ДШИ №4).

В заключении вечера в исполнении трио «Дар»

(И.В. Филаретовой, О.Л. Сергеевой, М.В. Подымовой) прозвучала литературно-музыкальная композиция «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», составленная из гениальных стихов поэта: «Телега жизни» и элегии «Угасших лет...».

В сердце каждого участника вечера останутся сердечные, необыкновенно теплые слова Елены Викторовны Кувшинниковой, члена Союза писателей России: «Сердце ликует. Пушкин родился! Пушкин родился в России, чтобы никогда ее не покинуть. Пушкин есть, Пушкин здесь, и мы сегодня с вами не просто сообщество горожан, симбирян, пришедшее на литературно-музыкальный праздник. Мы с вами частица нашей большой России, потому что сегодня повсюду с любовью трепетной звучит прекрасный высокий гимн Пушкину.

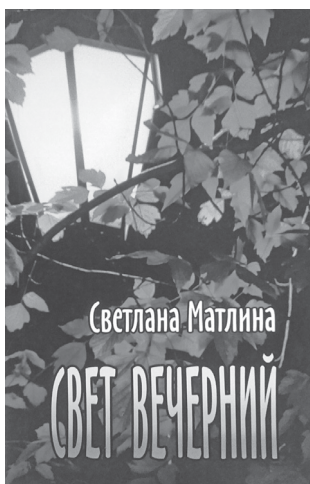
При свете пушкинского слова
Суметь бы просто мудро жить.
И все, что есть в душе святого,
Дай Бог спасти и сохранить!».





СТРАНА ПОЭЗИЯ

Светлана МАТЛИНА, поэт, член Союза писателей России, лауреат поэтической премии им. Н.Н. Благова, лауреат премии им. И.А. Гончарова.



ПЕСНЯ – РАДОСТЬ НЕЧАЯННАЯ...

Стихи из новой книги
«Свет вечерний»

ПЕСНЯ – РАДОСТЬ
НЕЧАЯННАЯ...

* * *

Россия под дождем. В малиновых кустах,
Рыжеющей листве, березах белоствольных.
В размытых и воздушных небесах
Смиренен дождь, как слезы богомольцев.

И эту землю всю с мальчонкой у плетня,
Как будто потерять ее боится,
Россия из листвы, и ветра, и дождя,
Прижав к груди, укрыла плащаницей.

* * *

Сосны засыпаны листьями.
Светятся, словно фонарики,
В зелени, в осени мгlistой,
Падают звездами на руки.

Что загадать мне хорошего,
Чтоб исполнялось желание
Под золотистой порошею
В стьлом рябиновом пламени,

Чтобы в тепло не изверилось
За дорогими потерями.
В нашем озверенном времени
Чтобы душа не изверилась?

Пусть же поется – не плачется
По площадям и околицам,
И, привлекая удачу,
Доброе дело спорится!

Я же, бродящий мечтатель,
Русь полюбя до дрожи,
Выдохну в листопаде
Тихо: спасибо, Боже!

НА ЦЫГАНСКИЙ МАНЕР

Пусть жизнь ни в чем нам не дает поруки,
Пусть отвернутся мнимые друзья,
Пусть вслед несутся клевета и ругань,
Испытанная, верная подруга –
Со мной осталась молодость моя!

Свети, свети мне в ночи листопада,
Где я брожу, беспечно отгрустив,
И напевай разбитую гитарой
И хрипами, и голосами сада
Свой задушевный, простенький мотив.

О днях погибших, страсти безоглядной,
О дорогих потерях и мечтах,
Что не сбылись, не сбудутся – и ладно! -
О жизни моей маленькой, нескладной,
О боли несусветной, светлых днях.

Идем туда, где меркнут фонари,
Проспекты как натруженные вены,
Синея, выступают... говори!
И ангел гипсовый, обняв рукой коленки,
Сидит и слушает на краешке зари.

* * *

Юрию Кузнецову

В темном храме погашены свечи.
Я вхожу, я в платке, я молчу.
Ставлю пред Иоанном Предтечей,
Поминальную ставлю свечу.

Пусть тебе все грехи там отпустятся,
Невеликие, в общем, грехи.
В белой келье сойдут и поручатся
За Россию, Россию стихи.

* * *

Это осень была. Это в Мирном
В темных звездах синий шатер
Богом, что ли, для душ был раскинут,
Запевал их небесный хор
О поэте с судьбой завидной,
О поэте с грустной планидой:
Жизнь трудна, а строка – легка...
Злую грусть затушив навеки,
Дали местной библиотеке
Имя умершего земляка.
Это осень была. У входа
Скромный серенький постамент –
Белокрылые дети природы
Вниз летели к остывшей земле
Журавлиной подстреленной стаей:
Крылья сложены, не кричат...
А за стаею – вязь густая –
Имена погибших солдат.
И белели так простодушно
Под красивый щемящий распев
Крылья, крылья...

и круглый, воздушный
Храм Ирины в темной листве...

Храм св. Ирины. Поселок Мирный

* * *

Маленькая ручка из металла
В уголке сияющей иконы. –
Можно, если сердцу горько стало,
Приложиться каждому с поклоном.

В ней хранятся милость благодати
И мощей нетленная частица.
И что очень даже может стать,
Для тебя хорошее случится.

Очертанья белоснежной храмины,
Словно плечи женские покатые.
Есть в ней что-то ласковое, мамино,
Дочкино, красой родной богатое.

От иконы ли внутри все светится?
Мир в значенье и звучанье имени...
Край сама нашла, кому довериться –
Было здесь явление Ириново.

С золотым крестом, в златистом кружеве,
С колокольным песнопеньем небу
Храм Ирины – мирнская жемчужина –
В простоте душевной благолепен.

В ночь на Троицу, 26-27 мая, 2018

* * *

Как все, я о счастье мечтаю,
По улицам шумным брожу.
Как все, веселюсь иль страдаю,
Как все, за работой сижу.

Судьбина посмотрит Горгоной
С усмешкой змеиной, вприщур –
И тут же, без вскрика, без стона,
Я в камень живой обращусь.

Уводит от жизни надолго
Во мрак без дорог и огня.
И злоба, беда, одиночество
Уже поджидают меня!

Ты что говорила, сивилла,
Когда я пришла на порог?
Сивилла, ты мне говорила:
«Накинь на лицо ей платок!»

Зайду в магазин поскорей-ка,
Платок понарядней куплю,
Накину на очи злодейке,
Булавкой концы заколю!

Она и сама приустила
От взора, что горе несет.
Она бы века отдыхала –
У каждого счастье свое.

По улицам людным плутаю,
Древесную слушаю сень.
Как все свою жизнь проживаю -
И рада тому, что как все.

* * *

Под ирисы вечера
Думу пряду.
Над головою
Бог теплит звезду.

От ранней до поздней
Последней звезды
До утренней
Огненной борозды.

Синь и печаль
В холмах и везде.
Бог ставит свечи –
Звезду к звезде.

Ирисы вечера
В далях цветут.
Кто я? Зачем тут?
Куда я уйду?

И как обещаешь,
Встречи легки,
Падают в руки мне
Лепестки.

АЛЯ

Аля стукнулась спинойю
О железный о косяк.
И в травмпункт ее зимою
Повезли на костылях.

А потом уж, трали-вали,
Прямо в хоспис привезли, -
Спать соседки с буйной Алей
В отделенье не могли.

Да, у старой Али бедной
Крыша съехала совсем.

Но зато открылось небо,
Что даруется не всем!

И «четверочкам» – старухам
Аля чувственно поет,
Полумертвые, без слуха,
Слушают, разинув рот:

Две розы в бокале стояли...
Одна была белая-белая,
Попытка любви неумелая,
Другая пурпурная, смелая...
Две розы цвели-расцветали
И обе увяли...

Не тревожься, пой, Алюша!
Скоро праздник, Новый год.
Отлетающие души
Бог назавтра приберет.

И сама дорожкой белой
(Первый твой вояж не в счет.)
Ты поедешь к престарелым,
Если очень повезет.

Ничего теперь не жалко,
Горе тоже не берет.
На окне твоём фиалка
Для других уже цветет.

В доме том опять посадишь
Сине-красные цветы...
Ветер пляшет в палисаде,
Он веселый, как и ты.

Потому как одинока,
В няньки даром кто пойдет,
И выходит старость боком,
Потому как снег метет...

Хорошо, что все забыла,
Хорошо, что крыши нет,
Ты тогда бы завопила,
Зарыдала на весь свет.

Пой себе. Теперь ты в нетях,
Не нужна родне за так.
Потому как на том свете
Все серьезное – пустяк.

* * *

Рябины алыми кадильницами
Под белым пламенем кадят
Зиме – и с пеньями умильными
На небо и на нас глядят.

Кадят Христу с очами ясными –
И ждет весны притихший край.
И снится рай с плодами красными,
Звенит сосульками февраль.

* * *

Из лесу прилетают...
На заре за дворами
Дерева над снегами
Птицами расцветают.

И щебечут, порхая,
Стайки сладкоголосых,
И клюют, не смолкая,
Ягод алые гроздья.

Дружной сильною кучкой
Звоны в сини летают,
В шорох веток зыбучих
Все звенеть продолжая.

Этот звон, этот щебет
Далям, им упоенным,
Так он нравится небу,
И приятен и мне он!

И из звонов сердечных
В белизну подвечечную
Все растет нескончаемая
Песня – Радость Нечаянная.

ВСЕГО МОМЕНТ

На землю ждущую нисходит свет вечерний.
Вечерний свет.
Как много он душе сказать умеет,
Как он печалью светлой душу греет
Любви в ответ.

Он мягко обрисовывает тени
Притихших тополей, их силуэт
Всего момент.
И снег мерцает все сильней, сильнее,
И вот вступают пенные метели

В свирельный круг,
И вот душа, на миг покинув тело,
Бредущее куда-то на ветру,
Звенит и кружится как прежде неумело,
Забыв, что «я умру».

Морщины времени и все тревоги – мимо,
И остается только что любимо
И что душою трепетно хранимо
За дымкой лет,
Что в неразрывные спаялось звенья...

На землю белую ложится свет вечерний,
Поющий свет.

ТОЛЬКО МУЗЫКА ОДНА

По ночам поют метели
И волхвует снег.
Подпоясанные ели,
Как в тулупе человек.

Только синь и белизна,
И сугробы как стада,

Только снежные свирели,
Только музыка одна!

Еле-еле встав с постели,
Побредешь не без труда,
В хлопьях моря-океана
Утопая без следа,
Как шагнешь, снега вздымая,
Пропадая навсегда.

Под зари туманной венчик,
Через сонные века
Проливается бубенчик,
Путь-дорога далека...

ВЕСНЕ

Уводи в золотые пределы,
В ясный свет, в молодой непокой!
Это ты мне о счастье напела,
Это ты позвала за собой.

Соловьиным гремела раскатом,
Распустив здесь и там – и везде
Голубые и красные пятна
В упоенно журчащей воде.

И восход над тобой все огромней,
Пусть устроить мы жизнь не смогли.
И гарцуют веселые кони
В серебристо-лиловой дали!

Рвутся в небо зеленые стрелы,
Там, в полях, пахнет свежей травой.
Уводи в золотые пределы
Для любви и печали земной.

* * *

Как будто окна все раскрыли –
Ворвался ветер озорной!
Смешал все сны, слова и были
И вынес их, как лист сухой.

На тополях одноэтажки
Лепили шустрые грачи.
А роща соком – алой бражкой –
Хмельеть имела сто причин.

Мы здесь смеялись, горевали
Так долго – зиму! – над судьбой.
Весну, как свадьбу, поджидали,
И вот воспрянули душой.

И нежит грудь апрельский холод!
К работе рученьки годны!
Как хорошо – здоров и молод!
И у тебя все впереди!

Бушует жизнь! По океану
Воздушной сини понеслась!
Весна ясна, благоуханна,
Дала ей легкие крыла...

И только бабка, век в заботах,
Всегда для дома и семьи,

Как печка русская, – оплотом,
Несла покой в своей крови.

Она-то знала – не робела,
Что свадьба будет, час придет,
И встретит май черемух белых,
Возрадуется – и умрет.

* * *

Мне грустно от того, что я не заликую
В сиреневый рассвет, ответа не найду.
И милые глаза твои не поцелую,
И не сорву цветок, как синюю звезду.

Мне горько от того, что в жизни все проходит,
Что быстро дни летят с веселием тоски,
Что эта наша жизнь нас каждого доводит
От голубых берез до гробовой доски.

Мне радостно с того, что счастье все же было,
И что в душе моей оно навеки есть.
И тот вечерний дым, всходящий над могилой,
И тот вечерний звон – благословенья весть.

А вы наотмашь жизнь бессмертную любите
И милые глаза целуйте за меня,
Красивые цветы рукой веселой рвите,
Пока в вас прорва сил да буйного огня!

И в тесный круг сойдясь, припомнив все заветы,
Скажите про меня: «Жизнь вылюбив до дна,
И всю себя раздав, она была поэтом,
Поэтом до конца – и все дела».

ДЕРЖАТЬ УДАР

Большое будущее в юности сулили
За самобытный стих мне знатоки.
Один сказал: «А как бы ни хвалили,
Ей не дадут тут ходу, мужики!»

Не в бровь, а в глаз! – Сказал, как напроорочил:
«Свои сломают и затравят век...»,
Как васильки, мои поблекли очи,
А помнятся слова и человек.

И вот, пройдя подставы и ухабы,
И славы, и бесславия утар,
Я победила в нежном сердце слабость,
И научилась я держать удар.

И на колени пасть не торопилась,
Как тот боксер на ринге и в бою.
И у судьбы подачек не просила:
Дают под дых, а я стою, пою.

И научилась, как актер на сцене,
Я паузу держать, когда кричат,
Где слово полновесное не ценят,
Где выше всех себя наивно мнят.

За мной такое – бесполезна жалость.
И не желаю даже вспоминать.
С того пошло: я гнусь, но не ломаюсь:
Не так-то просто, милые, сломать.

Я видела волчицу: дифирамбы
Слагаю ей! Она неслась к лесам,
Оставив перегрызенную лапу,
Попавшую в охотничий капкан.
Тянулась нитка крови по следам...

Вот так и я спешу к своим стихам, –
На волю – и переступив лихое,
Чтоб из провалов – к взлетам, к небесам –
Да все стерплю! – Париж обедни стоит.

* * *

И с легкою душой я в Болдино вступаю.
Лишь листьев мягкий звон сопутствует шагам.
Разлита всюду здесь поэзия родная,
Дыхание ее подобно ветеркам.

Вот старый пруд, вот ив переплетенных кроны,
И золотых небес дневной веселый пыл.
Я на роскошный дол смотрю Его глазами,
Иду по той тропе, которой Он ходил.

И память поколений оживляя
Одним лишь только именем Его,
Ликуя и скорбя, соединяю
Здесь все с биением сердца своего.

Нам хорошо грустить под пушкинскую осень
У тихого, как вечный сон, пруда,
Где как игрушечный, ажурный белый мостик
И розовая от листвы вода.

К СОЗДАТЕЛЮ

За синие дали, за светлые зори,
За эти минуты живого восторга,
За то, что я в общем ликующем хоре,
За то, что посыпались птицы к рассвету
Со звонами, как золотые монеты,
На ветки цветущих черешен под ветром,
Спасибо.

Я – хрипы воды у лилии в горле,
Я – ветер бездомный, затерянный в поле,
Я – голое сердце на плахе сосновой,
Я – плотью одетое русское слово.
Я – шея пшеницы под лунным серпом,
Я – память людская в забвеньи ночном.
Я – темный камыш над недвижной рекой,
Летящий к Тебе над заснувшей землей.

Я – арфа из связки костей, и молчаньем
С Тобой говорю я, как с тайной, ночами.
Но вот Ты коснулся – и стала звучаньем.
Ты – голос звезды, а я – голос воды,
Я – голос печали, Ты – голос любви.
Я трепет, я звездная пыль у порога,
Где сходятся вновь все земные дороги.

За синие дали, за светлые зори,
Надежды сиянье в небесном просторе,
За жизнь, и за счастье людское, за горе,
За лики земли, ее сахар и соль,
За слезы и свечи ухода, позволь
Мне славить Тебя до последнего вздоха,
Спасибо.



**В гостях у журнала «Симбирскъ» писатели из Липецка.
Мы приветствуем прозаика Александра Пономарева и поэта Андрея Новикова.
И надеемся на продолжение творческого сотрудничества!**

Уважаемые друзья!

Мы рады возможности обратиться к читателям авторитетного литературного журнала «Симбирскъ». Недавно мы вернулись из литературного автопутешествия на Дальний Восток. Автопробег «Великая Россия» был организован липецким отделением Союза писателей России и ничего пафосного в этом названии нет – наша страна действительно велика даже своими размерами. Мы проехали по маршруту Липецк-Сахалин-Липецк около двадцати тысяч километров на вазовской

«семерке», полтора месяца пути – с 4 апреля по 20 мая. Почему мы отважились на такое далекое путешествие?

После распада СССР связи между региональными писательскими организациями были разрушены. Мы, пожалуй, стали первыми из провинциальных литераторов, пытающимися восстановить их. И это было воспринято с большой теплотой. Мы решили соединить мостом автопробега «Великая Россия» писательские организации 15 регионов страны. За полтора месяца мы встретились более чем с сотней талантливых поэтов и прозаиков на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.

Чем дальше мы уезжали на Восток, тем радужнее были приемы в местных писательских организациях, редакциях журналов, библиотеках. Встречи с читателями и местными писателями прошли в Тарханах и Пензе, Самаре и Уфе, в Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерово, на родине Евтушенко на станции Зима, в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Биробиджане, Хабаровске, Южно-Сахалинске... И даже в китайском городе Хэйхэ, где мы отметили Первомай.

Сегодня мы рады представить свои произведения взыскательным ульяновским читателям, надеемся, что они найдут отклик в ваших сердцах.



*Встречи во время автопробега «Великая Россия».
А. Пономарев, В. Замышляев, М. Тарковский, А. Новиков.
Красноярск. Смотровая площадка возле памятника
«Царь-рыбе»*

С уважением, А. Новиков и А. Пономарев.



Андрей НОВИКОВ, г. Липецк

Родился в с. Алабузино Бежецкого района Тверской области. Первая серьезная публикация состоялась в журнале «Подъем» в 1984 году. Стихи публиковались в газетах: «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Слово», «Литературный Крым»; в журналах «Студенческий меридиан», «Литературная учеба», «Дружба», «Литературная Киргизия», «Петровский мост», «Зинзивер», «Молодая гвардия», «Российский колокол», «Подъем», «Метаморфозы»; в альманахах: «Истоки», «Поэзия», «День поэзии», «Академия поэзии», «Московский Парнас», «Тверской бульвар, 25». Автор пяти книг.

С апреля 2015 года в Липецке возглавил региональное отделение Союза писателей России. В 2016 году награжден почетной грамотой Союза писателей России, Большой серебряной медалью Гумилева «За верность творческим традициям «Серебряного века». Премией журнала «Петровский мост», Международной Южноуральской литературной премией (Челябинск, 2017 г.), лауреат Международной литературной премии «Русский Гофман» (Калининград, 2017 г.).

На XV съезде СПР (15 февраля 2018 г.) был избран секретарем Союза писателей России.

ЗВЕЗДНЫЙ МОСТ

НА СОЛНЕЧНОЙ ОСИ

На солнечной оси, бегом,
Настало утро с чутким носом,
И в доме пахнет утюгом
И крепкой первой папиросой.
Так, в детской памяти сквозя,
Кипит белье в тазу неловко,
Шарами мыльными скользя,
Над белой бельевой веревкой.
Еще судьбой не начат счет,
И дерево скрипит лошадкой,
И я, влюбленный в жизнь еще,
Таскаю пирожки украдкой.
Обычный коммунальный быт,
Где я с кудрявой головою,
Еще родными не забыт,
Живу в согласье сам с собою.
Лица увижу я овал,
И руки матери за пряжей,
И страшный времени провал,
Ничем не объяснимый даже...

БУБЕНЧИК

В жажде жизни, в ее круговерти,
Перемешаны правда и ложь,
Много скучного в опыте смерти,
Неожиданно правилам... Что ж?
Безутешно одетый дух речи,
Удивлял повседневности бровь,
И за ближнего страх недалече
Был на жалость похож и любовь.
Но размажь эту смесь мастихином,
Не жалея ни кармин, ни белил,
Ремесла полновесным цехином
Ты давно и за все заплатил!
Небо крыл непечатно с жестью,
Жадно ел пирожки с требухой,
Исходивший глухие предместья
Молодой, бесшабашный, бухой.

Муки вечные щедрой пригоршней
Собирал и прощенья просил...
Потому и в груди скомороший
Вместо сердца бубенчик носил.

СНЕГ УМИРАЕТ

Вдали пасхальный звон трамвая,
Сырой разлет скупых теней,
И в памяти перебираю
Пустую вереницу дней.

Лишь ноют не переставая
Весенней остротой ветра,
Язычески переставляя,
Привычный перечень утрат.

Шепчи холодными губами
Слова надежные весне.
Толпится бытие горбами,
Над крышами в бульварном сне.

Снег умирает в грязных муках,
Отзывчивость не взяв в расчет,
Запрет смотреть на город звуков,
Где время талое течет.

ИМЯ

Под перевернутою лодкой
Уснуть небрежно на песке.
Где море дышит хриплой глоткой
В великой, вековой тоске.

Стихии свежие повадки
Гудят огнем далеких гроз,
Взволнован сон, тревожный, краткий,
И через щели – звездный мост.

Приходит грусть в бессильной злобе
И, отрезвив, уходит прочь,
И легким холодом свободен
Путь забытья, объявший ночь.

СЧАСТЬЕ

Отдал бы все веселой песне
С кислинкой терпкою вина.
Весной становятся отвесней
Деревья, небо и дома.

И в том преображенье шумном
Хохочет счастье, бьет капель,
Погрязнув в мыслях о разумном,
Плутает в слякоти апрель.

И все душа опять приемлет,
Пойми где радость, где беда,
Туманы льют такие земли,
Сырые тащат невода.

Здесь счастье улыбнется в грезе
Траве, пробившейся в снегу,
Лучами сыпля на березы,
Слепя на солнечном бегу.

ОБЛАЧНЫЙ ДЫМ

День по лицу плывет в метели,
Порядок жизни разломав,
И кажется на самом деле,
Скрипят простуженно дома.

Небесным тихоходом немо
Плывут, не ведая путей,
Не облака, а их фонемы
Клубами снежными страстей.

И время здесь – досадный случай,
Один момент реальность смел,
Больней и жестче, неминуемый,
Он торжествует, юн и зол.

Уходит лед в сугробов ножны,
Свет перестанет быть литым,
И, глядя вверх, понять несложно,
Что жизнь, по сути, легкий дым.

ГОРОД

В цейтноте и в чем был уверен,
Презрев молодые года,
На этот мистический берег
Я выброшен был навсегда.

Здесь улиц ночное убранство,
Гудит и пестрит предо мной,
Легко прорубает пространство
Беспечной своей новизной.

Мой город – таинственный остров,
Рекламным неонам сиял,
Наверно, не послан, а сослан,
Коль слово на хлеб променял.

МИНУТЫ

Бывает день, как первый шаг,
Среди осенних одеяний,
С утра твой смех звенит в ушах
И от окна прохладой тянет.

Так нежно трогает рукав
Случайная на сердце строчка,
И в доме соль земных октав
Найдет чувствительную точку.

Трамвайный звон, и мир открыт
Его божественным минутам,
И даже коммунальный быт
Здесь совершенней «Абсолюта».

ПЯДЬ ЗЕМЛИ

На скамейке в любую погоду
У слюды подмороженных луж
Я тебя никогда не забуду,
Ледяная ноябрьская глушь.

Да и как это молвить иначе,
Если дали с морозным крестом,
Если мир не поет и не плачет
Каждым деревом, каждым кустом.

У заката стрельнув папироску,
Пробиваясь сквозь синюю мглу,
Вижу, ждет меня память неброско
Помолчать на кирпичном углу.

Чиркнет спичкой ломающий кашель,
Пред глазами холодный огонь,
И бездомность, как снежная каша,
Осязаема, только лишь тронь.

Замиранье и долгое вето
Средь вселенной, на звездной мели.
Только светом незримо согрета,
Пядь сухой златоглавой земли.

ЗВЕЗДА МОЯ

Порой глаза откроешь ночью,
душа в бесплотности двойкой,
Под потолком витает точно,
глухим отгородившись мраком.

В окно ворвется сходство бедное,
деревьев тени, тени зданий,
Сон есть броня блестяще медная
от искушений и страданий.

Косноязычьем страхи выбиты,
признания полны отравы,
Фонарным светом тени выбриты,
видения обманом правы.

Понять бы жизни схемы тайные,
узнать пророческие лики,
И эту тишину бескрайнюю,
небес язвительные блики.

Живой водой, водою мертвою,
вливался свет, его развилка.
Рассветной зыбкостью отчетливо
виска пульсировала жилка.

Меж сном и явью, жребий случая,
в моря, в непознанные страны.
Лети, моя звезда падучая,
рождаясь с каждым утром заново.



Александр ПОНОМАРЕВ. Писатель, драматург (г. Липецк).

Автор пяти книг прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея» (2015), «Бабкины сказки – дедкины подсказки» (2015), «Охота на призрака» (2015). Окончил филологический факультет Липецкого государственного педагогического института, Республиканский институт МВД России. Служил в органах внутренних дел РФ. Подполковник милиции в отставке. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Член Союза писателей России (2011), Межрегионального Союза писателей Украины (2010), Конгресса литераторов Украины (2010), член-корреспондент Крымской литературной академии (2012), член Академии российской литературы (2017), Интернационального союза писателей, драматургов и журналистов (2017).

Публиковался в журналах «Молодёжный вестник», «Нева», «Двина», «Театральный мир», «Луч», «Крым», «Подъём», «Петровский мост», «Жеглов-Шарапов и К», «Русское эхо», «Саровская пустынь», «Московский Парнас», «Слово писателя», «Щит и меч», «Метаморфозы», «Балтика» и других. А также более чем в 20 интернет-изданиях России, Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии, США, Греции.

Лауреат национальных и международных литературных конкурсов.

РОДИНКА

рассказ

Нога нестерпимо болела, причем сначала боль была тупой, но время от времени ее как будто кололи шилом с нескольких сторон, а потом тысяча чертей доставали ржавую двуручную пилу и принимались за дело. Андрей глухо застонал. Превозмогая боль, он достал из разгрузки индивидуальный перевязочный пакет, разорвал зубами оболочку и принялся неумело перевязывать рану. Нога вспухла и посинела, небольшое входное осколочное отверстие выше колена стало черным от запекшейся крови. Ранение было глубоким, железный осколок застрял где-то в мягких тканях бедра. Андрей бинтовал ногу, как учили, сверху потуже, ниже послабее. Медицинские бинты сразу же пропитались свежей яркой кровью. Боль стала отпущать. Андрей достал из кармана таблетку анальгина, положил под язык. Потом, перевернувшись на другой бок, снял с ремня фляжку. Отвинтил крышечку и запил таблетку водой. Глоток получился очень болезненным, как будто он проглотил верблюжью колючку. Ну что ж? Ради такого дела можно и потерпеть. Андрей слегка закашлялся и обвел взглядом помещение, в котором он находился.

Заброшенный сарай, сложенный из серого саманного камня, в нем, наверное, раньше держали скотину. Деревянные слепы, которые когда-то составляли крышу, поломались и рассыпались от дождей и ветра, и через прорехи проглядывало синее бездонное небо. Вокруг валялись охапки сопрелого сена, пахло овчиной и молодой травяной порослью.

Андрей очнулся от сильной боли недавно. Сколько он провалялся здесь и как сюда попал – он не помнил.

В висках застучало. Андрей вновь сделал глоток из фляги. Память потихоньку начала возвращаться к нему. Обрывки событий, случившихся сегодня, по очереди водили хороводы в его голове. Андрей попытался встать и, не удержавшись, рухнул на земляной пол, голова кружилась, как в детстве, когда на спор он прокатился на карусели три раза подряд...

Сегодня утром начальник разведвзвода, в котором Андрей проходил службу по контракту, сидя у костра и выхватив из него уголек, прикуривал мятую «беломорину».

– Так вот, Трофимов, – сказал он, и, обжегшись, бросил лучину, схватив себя за мочку уха, – расклад такой, я говорю: вдвоем с Найруллиным выдвинитесь вдоль ущелья. Посмотрите что и как. Вечером один чабан говорил, что видел на тропе незнакомых людей.

– А чабану верить-то можно, товарищ капитан. – Андрей достал сигарету из пачки, ловким движением пальцев размял ее и прикурив у командира.

– Кто их тут разберет – можно им верить или нельзя? Тем не менее информацию нужно проверить. Намечается войсковая операция. Рисковать нельзя. Так вот, я говорю, сходите вдвоем и поглядите. Бойцы вы опытные, не первый год замужем. Прокрадетесь бесшумно и тихо. Не торопитесь, посмотрите как можно большую территории. Если недобитки какие бродят – хрен с ними, я говорю, но крупную бандгруппу у нас в тылу мы прошыпать не имеем права. Ясно?

– При обнаружении как действовать?

– Действовать по обстановке. Ноги, ноги, уноси-те мою жопу. Чего непонятного?

– Есть, товарищ капитан, – засмеялся Андрей, – тихо все посмотреть и быстро унести задницу!

– Только в случае обнаружения крупных неприятельских сил, я говорю, уносить-то, – засмеялся вслед за ним взводный.

Айрат Найруллин был парнем молчаливым и, можно сказать, угрюмым. Спиртного не пил, в разговоры не вмешивался. Все происходящее вокруг него Айрат воспринимал с невозмутимостью и некоторым даже безразличием. Только к гибели боевых товарищей он никак не мог привыкнуть. После того, как очередного, двухсотого, упаковывали в пластиковый мешок, Айрат уходил и подолгу скрипел зубами, сидя

в одиночестве. В разведывод он попал недавно, после госпиталя, до этого он числился на погранзаставе возле Кодорского ущелья, но после того как весь караул вырезали бандиты, возвращаться назад отказался наотрез. Причем попросился добровольно в самое пекло. «Из огня да в полымя» – так говорил про Айрата взводный.

Андрей шел первым по тропе, Найруллин следовал немного позади. День был солнечным и безветренным, вокруг пели птицы, ароматы цветущих трав пьянили.

– Айрат, а ты в прериях бывал? – Андрей вполголоса зашел: – Где среди пампасов бегают бизоны и над баобабамы закаты словно кровь...

– Не надо про кровь, – отозвался Найруллин.

– Че, так молча и будем пехать?

– Да, молча. Так лучше.

– Как скажешь – И Андрей обиженно засопел. – Ты как думаешь, в нашей жизни случайности бывают? Или только закономерности?

Но Айрат ничего не ответил. Андрей прибавил шаг.

Сойдя с тропы, бойцы прочесывали лес. Андрей не видел Айрата, но чувствовал его близкое присутствие. Вдруг он услышал, как справа от него три раза прокуковала кукушка. Это было условным сигналом. Андрей сел на землю, огляделся вокруг и пополз на звук. Айрат лежал в ложбинке и внимательно вглядывался вдаль. Андрей, подобравшись к нему, толкнул Айрата в бок. Тот посмотрел на него и молча кивнул влево. Андрей поднял голову и выглянул из-за бугорка. Метрах в сорока вдоль горного распадка двигалась вереница вооруженных людей. Они несли на плечах тяжелые рюкзаки, некоторые тащили на плечах пулеметы. Одеты они были в камуфляжи всех мастей и оттенков, на головах зеленые повязки с арабской вязью. Вдруг первый остановился и поднял руку. За ним остановилась вся цепь. Человек огляделся вокруг, принялся и вдруг посмотрел в сторону затаившихся бойцов. Андрей торопливо спрятал голову и, полежав пару минут, снова выглянул. Цепь вновь продолжала движение.

– Сколько их? – шепнул Андрей.

– Штыков полтора, – тихо ответил ему Найруллин.

– Не соврал чабан!

– Что? – Повернулся к нему Айрат.

– Вчера вечером их разведгруппа здесь шарилась. Проходы примечали. Все, делаем ноги. – И Андрей вновь толкнул татарина в бок.

До сих пор не мог понять Андрей, как они, опытные и много повидавшие бойцы могли напороться на растяжку! Граната была хорошо замаскирована, а проволока натянута почти у самой земли, в густой траве они ее просто не заметили. Но все же! Не имели они права дать так себя облапошить! Не имели! Взрыв ухнул неожиданно, Найруллин свалился как подкошенный. А Андрея в ногу как будто ужалил шершень. Он тоже упал, но, трясая головой, быстро очухался. Постучал себя ладонями по ушам, а когда через несколько секунд вернулся слух, взвалил на плечи Айрата и, пригибаясь к земле, побежал по лесу.

– Эй, там наверху, живы? – он потрянул товарища, у Андрея по шее потекла горячая липкая кровь.

Он снял Айрата и осторожно уложил его на траву.

Найруллин с серьезным выражением лица смотрел в голубое небо широко открытыми глазами. Осколок прошел сквозь его шею, оставив глубокую рану, из которой клокотала алая кровь.

В нескольких метрах справа и слева у себя за спиной Андрей услышал незнакомую речь. Погоня шла по пятам.

– Прости, братан. – Андрей положил Айрата в яму и наскоро забросал ветками. Обернулся и дал очередь из автомата на звук голосов.

Андрей отстреливался долго. Целую вечность, так ему показалось. В него тоже стреляли. С какой стороны? Он не понял этого. Наверное, со всех сразу. Когда кончились патроны, он, зубами вырвав чеку, бросил гранату, за ней другую и третью. После чего вытащил нож и из последних сил бросился бежать...

Давным-давно, когда Андрей окончил второй курс института, он с группой своих же друзей-студентов работал в стройотряде. В летние каникулы появилась возможность немного подзаработать. Ребята строили коровник в колхозе. Поселили их в старой одноэтажной гостинице, куда председатель колхоза селил всю сезонную рабочую силу.

Работали они с утра и до позднего вечера. Душа в так называемой гостинице не было вовсе, поэтому мысли студентов после работы в грязном, заросшем болотной тиной пруду.

Андрей разделся на берегу, уложил одежду и вошел в воду. Намылившись, он принялся нещадно тереть себя мочалкой. Тело, не привыкшее к длительному физическому труду, приятно ныло.

– Друг, у тебя мыла не найдется?

Андрей обернулся. На берегу стоял паренек в тельнике, трико и сандалях на босу ногу.

– Лови, – и Андрей кинул ему кусок скользкого хозяйственного мыла.

Парень ловко поймал его, затем положил на траву, быстро разделся и тоже медленно вошел в воду.

– Спасибо, – на Андрея смотрели черные веселые глаза, – меня Ромкой зовут, а тебя?

– Андрей.

Сложен Ромка был идеально. Высокий, стройный. Волосы цвета воронова крыла, правильно очерченное лицо, орлиный профиль, и только над переносицей – между глаз – коричневой точкой висела большая родинка.

– Осегин?

– Чеченец. – И Ромка принялся намыливаться, – мы со старшим братом в садах яблоки собираем.

– Платят хорошо?

– Мы натурой берем, – Ромка засмеялся, – пять ящичков наберем – шестой наш.

– А мы здесь коровник строим. За молочной фермой. Видел?

После этого знакомства Ромка стал частым гостем у студентов. Он вместе с ребятами резался в нарды и футбол. Удар по мячу у него был хлестким и плотным.

– За «Терек» играл когда-то, – улыбаясь, говорил он.

Боялся Ромка только старшего брата. Слушался его он беспрекословно...

Музыка играла громко. На поляне около правления колхоза отплясывали местные ребята и девчонки. Кругом царило веселье. Выходной, как-никак.

Можно расслабиться и потанцевать. Студенты расположились отдельной группой. Ромка сидел рядом с Андреем на лавочке.

– Эй, черножопый, поди-ка сюда, – на Ромку зло смотрел взрослый парень в зеленых брюках-клевш, он поманил его пальцем.

Раньше этого молодого человека Андрей не видел.

– Не связывайтесь с ним, – шепнула Андрею на ухо одна из местных девчушек, – это Генька Кривов, он недавно из тюрьмы вышел. Ой, что сейчас будет!

Ромка, улыбаясь, поднялся. Он смело смотрел парню прямо в глаза. Андрей тоже попытался встать, но парень толкнул его пятерней, и он упал на лавочку.

– С тобой разговор позже будет. А сейчас я посмотрю – какого цвета юшка у этого волчонка, – и он криво усмехнулся.

Андрей резко поднялся и встал рядом с другом, касаясь его плечом. Ромка оглянулся на него и, все поняв, улыбнулся, затем нахмурился и вновь перевел взгляд на Геньку.

– А мы вместе, – и Андрей уперся взглядом в круглые пьяные глаза...

Андрей услышал гортанную речь. Бандиты прочесывали лес. «Сюда они точно войдут – пронеслось в голове, – не могут не войти. Ну что ж, умирать, так с музкой».

Андрей пошарил рукой по полу и похолодел. Ножка не было. Он начал прощупывать разгрузку, за-

тем карманы – нет.

Андрей почувствовал, как на него кто-то смотрит, и поднял глаза. В дверном проеме стоял здоровенный детина в камуфляже, в руках он держал АКС. Он внимательно разглядывал Андрея. Одной рукой он уже доставал из ножен кривой кинжал с костяной ручкой, повесив автомат на плечо. Рыжая борода топорщилась, надпись на арабском языке с двумя скрещенными мечами внизу белела в темноте.

По спине Андрея пробежал холодок, он молча опустил глаза и закрыл их, не в силах смотреть на свою смерть. Сейчас ему перережут горло. Как барану.

Бандит приблизился к нему и присел на корточки. Затем взял Андрея за подбородок и поднял голову. Андрей приоткрыл веки. На него пристально смотрели черные глаза. Между ними, над переносицей, висела крупная коричневая родинка. Несколько секунд они внимательно разглядывали друг друга.

– Эй-а Ваит, хаски ву? – спросили снаружи, слышались приближающиеся шаги.

Бандит отпустил подбородок и торопливо поднялся, голова Андрея упала на грудь. Он приготовился к тому, чтобы умереть. Боль отступила.

– Эй-а доттага! – снова крикнули снаружи.

– Вац. – Чеченец повернулся и медленно выходил из сарая.

– Спасибо, Ромка, – прошептал Андрей, но тот только дернул плечом и исчез в дверном проеме.

В ГОСТИ К ДРУГУ

рассказ

За окном электрички пробежали перелески, луга и пашни, мелькали дачные поселки и перроны станций. Иван рассеянно смотрел в окно, не замечая прелестей родной природы.

Иван шевелил губами, он разговаривал с Серегой.

Напротив него села девушка и принялась придирчиво рассматривать его с ног до головы. Словно прикидывая – не помешает ли ей такое соседство. Дачница поставила рядом с собой корзину с продуктами и тоже взглянула в окно.

Платформа полустанка осталась позади.

– Извините, вы не курите? – девушка вывела Ивана из оцепенения своим вопросом.

– Что?

– У Вас сигаретки не будет?

– А, – Иван кивнул, – найдется! – И он засунул руку в карман, – возьмите. Я вообще-то люблю «Беломор». Это папиросы, знаете?

– Знаю, – улыбнулась девушка.

– Так вот: друг мой Серега – он только «Золотое руно» курит. Понимаете? А я, как назло, забыл совсем. Теперь придется врать, что не встретил нигде.

– Да кругом ларьков же полно, еще встретите.

– Вы думаете? Ну и хорошо, – сразу успокоился Иван, – представляете! Мы с Серегой в одном дворе росли. Дружили, как говорится, с младенческих ногтей. Вместе играли в снежки, а когда подросли – так и в казаков-разбойников. В одном классе учились. Мои

родители на фабрике работали, по сменам. Могли сутками домой не приходиться. Тогда либо я у Сереги ночевал, либо он у меня. Его мама – тетя Варя, добрая такая была. Все норовила нас чем-нибудь вкусненьким угостить.

Иван посмотрел на девушку. Та слушала, задумчиво разминая сигарету.

– Я почему про «Золотое руно» вспомнил, – и Иван улыбнулся, – он даже на войне – возьмет сигарету без фильтра, намажет вьетнамской «Звездочкой» и курит. Похоже было по вкусу, особенно в темноте.

– Да, выдумщик ваш Серега, – засмеялась дачница.

– Это точно, – вслед за ней захохотал Иван, – он такой. А когда подросли – Серега влюбился в Тоню. Это самая красивая девчонка в нашем дворе была. И даже, наверное, на всей улице. Из-за нее у нас возле гаражей каждый день проходили рыцарские поединки. Но выбрала она, понятное дело – моего друга. Мы даже дружили всегда втроем: всюду вместе. В кино, в зоопарк, на каток.

Серега учился всегда хорошо. Я помню, каким ударом для него было то, что он в военное училище не поступил. Он военным летчиком мечтал стать. По зрению не прошел. Мы и в институт поступили все вместе: Серега, я и Тонечка. В педагогический. После третьего курса – я тогда сессию завалил, отпуск академический взял и на военную службу собрался. И Се-

рега вместе со мной. Не захотел меня бросать одного. Чувствовал, что нелегко мне придется. Кто же знал, что на нашем пути война капканы расставит.

Мы в армию вместе уходили, и в Чечню вместе попали. Нас не неволили, но Серега рапорт написал, и я за ним. Как же его без присмотра оставлять, он и так из-за меня служить пошел.

Вместе мы на броне ездили, вместе в окопе мерзли. Из одного котелка щи хлебали. Да чего греха таить, иногда и одной ложкой по очереди.

Тот бой я помню очень отчетливо. Прищемили мы духов в ущелье. Они, как раненные звери, на нас буром перли. В полный рост, представляете? По горам карабкаются на нас, а у нас уже патроны кончаются. Один пулеметный расчет: я да Серега.

По рации нам: отходите, отходите! Не помню, как выбрались тогда. Тащил я Серегу на плащ-палатке. Он все пить просил. А у меня нога отнимается. Поговорю я с ним, успокою, из фляжки пару глотков дам и опять волоком его тащу. Я даже не сразу понял, что у ногу меня ранило.

Тут Иван постучал пальцем по правой голени.

– Протез, – ответил он на недоуменный взгляд, – я главное говорю этой врачихе: «Что же вы меня каждый год тираните, у меня же нога не вырастет». А она мне – фантомные боли, фантомные боли. Я ей говорю: «Доктор, да как вы можете про них знать, коли у вас обе ноги на месте. Это почувствовать надо». Эх, да чего там, – и Иван махнул рукой, – Серега бы тот им

так загнул. Он всегда бойчее был.

Полгода мы с ним не виделись. Еду вот, – и Иван достал из-под лавки пакет – все, как полагается: водка, закуска. Только «Золотое Руно» осталось по дороге зацепить. Эх, сколько мне ему рассказать надо. Ой, простите, телефон звонит – и он торопливо полез рукой во внутренний карман.

– Алло, Тонечка! Все хорошо, дорогая. Да, я к Сереге еду. Ну, не знаю. Наверное, не скоро. Ты же его знаешь. Сейчас как начнет анекдоты травить. Хорошо-хорошо. Много не будем. А Серенька как? Во дворе бегаёт? Ну, пока. Хорошо-хорошо.

– Супруга звонила, – он опять улыбнулся, – волнуется. Опа, моя остановка. До свидания. Спасибо вам, заболтал я вас совсем. – И он не спеша поднялся.

– Ничего-ничего, – девушка задумчиво смотрела на этого странного, разговорчивого пассажира, не замечая, что сигарета у нее в руках рассыпалась в прах.

А Иван, опираясь на палку и держа в другой руке пакет, медленно спускался по ступенькам перрона. Затем долго шел по проселочной дороге, полной грудью вдыхая чистый загородный воздух...

На краю кладбища притаились две могилки. Одной Иван поклонился.

– Здравсте, тетя Варя, – сказал он.

А другую плиту из черного мрамора, с которой ему улыбался старый друг, обнял и сказал: «Привет, Серега! Как я по тебе соскучился. А «Золотое руно» нигде не встретил. Извини!».





ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ



Владимир КОЧЕТКОВ, педагог, путешественник, член Союза писателей России. Живет в р.п. Сурское

От автора

В детстве мне казалось ужасно несправедливым стремление людей скорее стать взрослыми. Я всегда считал, что детство – самое прекрасное время для того, чтобы помечтать и пофантазировать. Лично меня воображение уносило далеко, как это и всегда было принято в детских сказках – за моря и океаны, за леса и горы. Прошло какое-то время, и мне действительно довелось побывать во многих удивительных местах нашей планеты.

Детство давно прошло, но его влияние на свои действия и поступки я ощущаю каждый день и сегодня. Даже когда пишу рассказы и истории, превращаюсь в того мальчишку, каким был в двенадцать лет. Три года назад я решил написать фантастическую повесть. Почти все события, описанные в повести, я видел лишь в своем воображении. Хотя описанные в повести горы, леса, замечательные ландшафты и многие люди действительно существуют на самом деле – я их видел, а какие-то события пережил на самом деле.

В центре повествования две сестренки – моя племянница Сима и внучка Лиза. И та и другая – необычайно лобознательные и непоседливые девчонки. А само их путешествие мне однажды приснилось. Так иногда бывает.

ЗВЕЗДЫ НАД БУЭНОС-АЙРЕСОМ

Фантастическая повесть

Часть первая

Древняя тропа

Позади был маршрут в несколько тысяч километров – целый кусок Атакамы, Анды и Лаплатская низменность, а впереди – лишь сутки до самолета в Москву. Еще три дня назад я любовался многочисленными водопадами Игуасу, а сегодня после очередного поворота дороги глазам открылся вечерний Буэнос-Айрес – конечная точка моего маршрута.

Я съехал с дороги в небольшую рощу и прислонил велосипед к стволу араукарии. Было немножко грустно, как это обычно бывает в конце каждого путешествия. Достал из сумки палатку и не спеша растянул ее на гибких алюминиевых дугах. По устоявшейся привычке сразу после установки палатки приготовил чай и нехитрый ужин – обычную молочную кашу. После ужина долго сидел перед палаткой, глядя сквозь ветви на огни Буэнос-Айреса. Сначала, пока еще тлела вечерняя заря, эти огни казались бледными и немногочисленными, но вскоре тропическая ночь рассыпала их не только по всему побережью, но и, казалось, раскидала по всему небу на западе.

В палатке долго не мог уснуть: вновь переживал и горную болезнь, и бешеные дожди на склонах Анд, и соль пустынного плато Альтиплано. Но постепенно усталость взяла свое: мысли смешались, улетаая за откуда-то взявшимся кондором все дальше и дальше. Передо мной вновь промелькнули лица индейцев в Куско, блокпост в Потоси, вершина Уайна-Пикчу, близ которой примостился древний город инков и туман горного перевала...

* * *

...Лима встретила смогом. Машины ехали медленно, аккуратно нащупывая дорогу, словно в тумане. Длинные улицы тянулись вдоль берега океана, обходя огромный порт с башнями, кранами, гудящими пароходами. Далеко в океан садилось солнце, казавшееся в клубах смога смутным белым пятном. Лиза не отрываясь смотрела в окно такси: после хмурой осенней Москвы ей было интересно все – и растущие прямо на улицах пальмы, и торопливая испанская речь на улицах, и изображения горбоносых краснокожих людей на стене небольшой гостиницы, в которой сестры остановились вместе с дедом. Гостиницу держали индейцы кечуа – смуглые, неразговорчивые люди. Лиза с интересом наблюдала за хозяином, пока дед рассчитывался, переспрашивал о магазинах, о ценах, о расписании местного транспорта. Эту гостиницу посоветовал таксист – такой же горбоносый и смуглый, как и хозяин:

– Там рядом море, берег, – повторил он несколько раз.

Владимир Николаевич хотел остановиться поближе к центру города, но таксист убедил его:

– Море, волны прямо в дверь гостиницы стучат,

– он кивнул на заднее сиденье, – девочкам там будет интересно.

Таксист оказался прав: стены гостиницы, казалось, выросли прямо из моря. Большие серые волны накатывали одна за другой, шумели под самым окном. Этим мерным своим шумом они укачивали, заставляли лечь, вытянуться во весь рост.

Владимир Николаевич, разложив на столе карту Перу, купленную еще в Москве и уже буквально испещренную собственными пометками и записями, – делал какие-то расчеты, основанные на расписании автобусов и маршрутных такси. Он планировал остаться в Лиме на пару дней: нужно было хоть немного акклиматизироваться – все же перелет и разница во времени сказывались. К тому же нужно было записаться некоторым необходимым оборудованием для путешествия по горам и найти хорошего гида, знающего и местные обычаи, и английский язык. Владимир Николаевич не привез оборудование с собой, ему не хотелось привлекать к себе внимание местных властей. К тому же и рюкзаки, и одежду можно купить на месте – в этом бывалый походевик не сомневался.

Владимир Николаевич посмотрел на внучку и племянницу. Лиза, похоже, спала, укутавшись большим теплым пледом, а Серафима по давней укоренившейся привычке читала перед сном при свете ночника. Владимир Николаевич вздохнул, подошел к окну. Да, сколько раз он испытывал какой-то особый азарт, стоя вот так, один на один, с огромной чужой страной. Но сейчас все было не так, как раньше, сейчас он вынужден думать не только о себе и о задании Русского географического общества, но и о девочках. Через два дня они оставят эту гостиницу и нырнут в чужую жизнь, в чужой мир.

Да, девочки... Правильно ли он сделал, взяв их с собой в путешествие? Это ведь сидя дома можно мечтать о дальних странах без страха. Конечно, Перу – государство развитое: вон на улицах Лимы и асфальт, и современные машины и магазины, современный огромный аэропорт и океанские лайнеры. Все было так, но Владимир Николаевич никак не мог успокоиться: какая-то смутная тревога никак не желала покинуть его размышления.

Да, девочки... И у той и у другой внезапно проснулся жадный интерес к истории и приключениям. Началось это год назад – в лагере отдыха, куда именно он предложил им съездить. Вожатым их отряда был молодой и деятельный историк Виталий Савинов. Владимир Николаевич слышал о нем: газеты не раз писали о научных изысканиях историка. То он доказывал существование древнего поселения на месте одного из райцентров, то организовывал турпоездки по уникальным природным местам области, завлекая туристов придуманными им самим небылицами, то выступал на каком-нибудь семинаре. Именно Виталий и

втянул девочек в какую-то историческую игру. Втянул так, что вернувшись домой, они всерьез взялись за изучение древних культур Америки, завели какой-то дневник, в который записывали выводы и результаты каких-то своих расчетов, а также попросили дать им возможность пользоваться картами Перу и Боливии, на которых Владимиром Николаевичем были нанесены пометки, связанные с деятельностью Воейкова.

Лиза лежала на койке и никак не могла уснуть. Ее просто распирало от гордости: впервые она оказалась в настоящей экспедиции. Вообще, ей хотелось рассказать и о планирующемся путешествии, в которое они так внезапно собрались всем – в школе, на улице, в туристической фирме, куда они заглянули вместе с дедом перед отъездом. Он не пожалеет, что взял ее с собой, уж она-то постарается ему это доказать. Она не даст Виталию опередить ее, Лизу, уж она отыщет спрятанное золото и прославится на весь мир. И дед, и папа будут гордиться, уж это точно!

Лиза закрыла глаза. Уже засыпая, ей вспомнился весь разговор с Виталием от начала до конца. Почему он решил именно им рассказать о своих догадках, она так и не поняла. В конце концов, Лиза посчитала, что Виталию понравилась ее, Лизино умение быстро, и самое главное, правильно соображать, а у Симы ее тягу к приключениям и чтению – не зря же ее двоюродная сестра прочла уже все книги домашней библиотеки? Наверное, так это и было.

Их главный разговор с Виталием состоялся далеко за полночь. Они в тот вечер долго сидели у открытого окна. Все остальные мальчишки и девчонки их отряда давно спали, а они втроем все сидели у окна, смотрели на звезды и слушали Виталия.

– В древних заброшенных городах есть места, где прошлое и современное время соприкасаются, – он говорил тихо, словно пытаясь убедить в этих словах, прежде всего самого себя. Глаза его блестели, как у азартного игрока, который держал в руке долгожданный джокер. – Если такое место отыскать, можно запросто очутиться в эпохе строительства и процветания того самого древнего города...

Виталий замолчал, словно пытаясь через наступившую тишину умчаться туда, за своими мыслями, в тот древний и давно ушедший в прошлое мир. Легкий ночной ветерок едва слышно шелестел листьями дубов и лип и чуть охлаждал его лицо и лица Лизы и Симы.

– Там, в древнем городе Мачу-Пикчу есть храм их верховного бога, – наконец едва слышно вымолвил Виталий. Он словно забыл о существовании девочек и дальше продолжал говорить в каком-то лихорадочном возбуждении. – Там должна быть плита, которая открывает вход в прошлое. Если спуститься вниз, то можно перейти линию времени. Я это знаю, знаю точно! Не может быть, чтобы ее не было. И если удастся ее

отыскать, тогда все золото древних инков достанется мне. Этих людей давно уже нет, а золото существует, и кто сказал, что оно должно кануть в Вечность, как и его хозяева?

Он вдруг замолчал, словно внезапно очнулся, увидев две пары глаз, буквально впившихся ему в лицо:

– Нет, золото, это не важно, главное, узнать, действует ли линия времени.

«Так вот, оказывается что, – подумала тогда Лиза, – он хочет заграбастать золото древних инков». Какое-то время они все вместе посидели у окна. Разговор больше не клеился, девочки расстались с Виталием и пошли спать.

Но едва они оказались в комнате одни, Лизу словно прорвало:

– Вот, оказывается, что ему нужно, – золото.

– Да нет, Лиза, – попыталась остановить сестру Сима. – Я не думаю, что он хочет взять золото себе. Он хочет прославиться как автор удивительной находки, только и всего. Он хочет прославиться, как Шлиман, откопавший Трою.

– Не выгораживай его, – еще более взволнованно принялась спорить Лиза. – Вспомни, как он убеждал нас никому не говорить о спрятанных сокровищах, даже деду, убеждая оставить все как есть!

– Может быть, ты ошибаешься? – Но Лиза

опять начала говорить с жаром, убедительно:

– Вспомни, как он сказал: «Этих людей давно уже нет, а золото существует, и кто сказал, что оно должно кануть в Вечность, как и его хозяева?» – Лиза подняла палец вверх, словно призывая слушать то, что она говорит еще более внимательно. – Вот!

Она вдруг вскочила с кровати и бросилась к двери. Пока открывала замок, пока Сима сообразила ей помочь, прошло несколько секунд. Когда, наконец, им удалось открыть дверь, в коридоре уже никого не было – до девочек лишь донеслось торопливое шарканье ног уходящего по коридору человека. Они успели увидеть его спину и втянутую в плечи голову прежде, чем человек свернул к двери запасного выхода из корпуса. Как ни короток был этот миг, девочки успели узнать в этом человеке Виталия.

Сестры переглянулись.

– Так, – тихо произнесла Сима.

– Так, – так же тихо повторила за ней младшая.

– Похоже, начинаются настоящие приключения, вот и злодей на горизонте появился, – Сима пожалала плечами:

– Нам нужно его опередить. Ничего, справимся.

– Справимся, – повторила за ней Лиза.

– Сами отыщем сокровища и передадим их индейскому президенту Боливии Эво Моралесу.

– Передадим, – подтвердила слова сестры Лиза.

И вот они, наконец, в Лиме, она на кровати в индейском отеле, их путешествие начинается, а Виталий



Жительница Боливии

остался дома. Лиза уже засыпала, когда представила, как она лично передает золотую корону индейскому президенту Боливии Эво Моралесу: «Это неважно, что он в Боливии, он, как никакой другой человек, достоин короны своих предков. Как хорошо мы с сестрой придумали».

Владимир Николаевич продолжал стоять у окна. Быстро темнело: вместо жмущихся к далекому горизонту кораблей он видел только огни их иллюминаторов, уже нельзя было различить накарывающие на берег волны и видеть лица редких прохожих.

– Да, – вновь пробормотал он вслух, – не зря ли я взял их с собой? Нет, я не отпущу их ни на шаг, все будет хорошо, не стоит волноваться.

Владимир Николаевич закрыл блокнот, проверил замок на двери, погасил лампу и лег спать. Сон не шел – слишком много событий скопилось за несколько последних дней. После того как было принято решение вылететь в Лиму, Владимир Николаевич почти не отдыхал. Нужно было оформить документы, рассчитать маршрут и составить подробный план экспедиции. Все несколько дней перед поездкой он тщательно готовился, изучая литературу и все возможные виды карт. Сейчас у него из головы никак не выходила встреча с Виталием у посольства Боливии в Москве. Владимир Николаевич почти столкнулся с ним у входа, но, к счастью, Виталий его не заметил: видимо, он был сильно увлечен разговором с каким-то невысоким смуглым бородатым человеком. После этой встречи Владимир Николаевич решил больше не медлить. Едва документы были оформлены, он с девочками вылетел в Лиму.

Два дня в городе пролетели быстро. Во-первых, путешественники закупили необходимое им в путешествии снаряжение – палатку, спальные мешки и походную одежду – хлопчатобумажные брюки и куртки и обувь – крепкие кожаные ботинки с надежной шнуровкой и толстой подошвой. Приобрели хорошие шляпы – из плотного материала, с широкими полями, надежно спасающими от тропического солнца. В рюкзаках теперь были и горелка, и газовые баллоны, что позволяло им приготовить пищу в любом месте: Владимир Николаевич не исключал возможности автономных переходов на каком-то участке их путешествия. Был закуплен запас

продуктов, и даже новый фотоаппарат и видеокамера – Владимиру Николаевичу хотелось фиксировать каждый шаг экспедиции.

В-вторых, за эти два дня путешественники немало покочесили по городу. В столице любого государства к иностранцу относятся доброжелательно. Скорее всего, иноземец в столице – явление нередкое, привычное и к тому же местные жители пытаются вести себя достойно, так сказать, стараются «держать марку» – потому-то никаких неприятностей за эти два дня не случилось. Язык в Перу испанский, но кое-кто знаком и с английским, это упрощало общение. Помогал им на улицах и язык жестов, одинаковый у всех людей. Спустя несколько часов общения путешественники привыкли и, уже ничего не боясь, бродили по городу. Они побывали в порту, из которого в свое время уходили в плавание и Тур Хейердал, и Уильям Уиллис, нашли остатки индейских и испанских крепостей, несколько раз выходили к океану.

Как ни хотелось девочкам скорее добраться в Мачу-Пикчу, Лиму они оставили лишь на третий день и в Куско отправились на автобусе. «Надо пройти акклиматизацию», – таково было решение Владимира Николаевича. Он объяснил, что, поднимаясь в горы медленно, им будет легче переносить недостаток воздуха на высоте и легче будет привыкнуть к изменению температуры. Девочки понимали, что он прав, и, несмотря на желание как можно скорее попасть в древнюю столицу инков, они не хотели испытывать горную болезнь.

Особых небоскребов в Лиме они не увидели – лишь в самом центре возвышались современные здания, весь остальной город состоял из обычных жилых строений в два-три этажа. Улицы в центре были ровными и чистыми, но ближе к окраинам их сменили бедные малоухоженные дома, отсутствие тротуаров и плохой асфальт. Но и эти дома вскоре превратились в убогие хижины из досок, карто-

на и полиэтиленовой пленки. Ветер поднимал вверх пыль и песок, раздувал пленку, и даже океан казался здесь, на окраине города, унылым и безразличным. Волны, словно злясь на кого-то, накачивали на песчаный берег и в тот же миг замирали, просачиваясь в песок.

Как-то сама собой последняя улица закончилась, и тотчас пустыня проглотила и дорогу, и все видимое



Мачу-Пикчу



Кладка в Мачу-Пикчу

пространство влево и вправо от нее. Даже небо – низкое и серое – добавляло какой-то необъяснимой тоски унылому пейзажу.

– Даже в окно смотреть неинтересно, – пробормотала вслух Лиза, – барханы, дюны да какие-то стоящие торчком скальные обломки.

– Атакама, – кивнул в сторону песков Владимир Николаевич, – самая скупая пустыня мира. Вот так и тянется она вдоль океана до самого Сантьяго.

– Что ж, так и не будет здесь ни лесов, ни полей? – переспросила Сима. Она пыталась вспомнить сообщение, однажды рассказанное учителем на уроке географии об этой пустыне, но ничего кроме приставки «удивительная», припомнить не могла.

– Бывает раз в двадцать лет расцветает эта пустыня, как в других странах весной, – чуть улыбнувшись, произнес Владимир Николаевич. – И цветы тут распускаются, и растения начинают расти. Только местным жителям от этого одни убытки и расстройство.

– Вот как! – Лиза даже подпрыгнула на месте. – Разве может весна не радовать?

– Эта весна означает одно – перемещение холодного Перуанского течения далеко на запад, в океан, – пояснил Владимир Николаевич. – Уходит течение, уходил и косяки рыбы. Местные рыболовством кормятся – рыбу и продают и заготавливают для себя. – он покачал головой.

– Не каждый может позволить себе уходить на две-три тысячи километров в глубь океана, многие разоряются, продают дело. Вон сколько мы видели бедняков на окраинах Лимы!

Сима еще раз уже более внимательно посмотрела в окно:

– Вот тебе и пустыня! Значит, у них тут своя красота ценится!

– Точно так, – подтвердил Владимир Николаевич, – своя.

После Ики – довольно крупного городка, раскинувшегося на берегу океана, километрах в трехстах от столицы, дорога повернула в горы. Начался долгий изнурительный подъем, продолжавшийся несколько часов: петли серпантина карабкались друг за другом вверх километр за километром. Стемнело, и автобус ехал медленно. На поворотах его чуть покачивало и девочки уснули. Фары выхватывали большие листья тропических растений и деревьев, росших по обочине дороги – то тропический лес подступал к самому краю дороги: здесь, на высоте, лес давно сменил пустыню. Владимир Николаевич еще какое-то время наблюдал, как водитель раз за разом плавно входит в очередной поворот, но, наконец, и он утомился и заснул.

В Куско приехали к середине следующего дня. Перед городом пришлось въезжать в длинный, километров тридцать, подъем. Горы не казались грозными – наверное, потому, что Куско лежал на приличной высоте в три с половиной тысячи метров, и вершины окружающих его гор были совсем рядом.

Едва автобус остановился, девочки в нетерпении высочили из него.

Солнце к этому времени выбралось почти на самую вершину небосклона. Оно казалось необычайно жгучим, его лучи, казалось, способны были прожечь хлопчатобумажные куртки путешественников. Воздух между тем казался холодным: едва они ступали в

тень, как открытые части тела – руки, лицо – начинали замерзать. Это сказывалась высота и время года – только-только начиналась весна.

Обойдя центральную площадь, путешественники занялись поиском гостиницы. В последние годы Куско превратился в туристический центр – казалось, туристов на улицах было гораздо больше, чем местных жителей. Поиски не заняли много времени – спустя полчаса, они уже складывали вещи в одну из комнат небольшого, опрятного отеля.

После обеда вышли в город – Владимиру Николаевичу очень хотелось найти возможность попасть в Мачу-Пикчу, а заодно как следует познакомиться со страной, в которой они так неожиданно оказались.

Когда еще доведется? – объяснил он девочкам.

От Куско в Священный город можно было попасть поездом по старой дороге инков, но им нужна была не просто поездка, а возможность остаться в Мачу-Пикчу на несколько дней и хороший проводник.

Старый походник решил, сначала попытаться удачу подальше от центра города – ему казалось, что так будет не только проще, но и дешевле. Но едва путешественники покинули центр, им сразу пришлось столкнуться с особым – коммерческим – отношением людей к любой просьбе белых туристов. Во-первых, ориентироваться на улицах пришлось самостоятельно – люди на вопросы не отвечали – чаще всего отворачивались или пожимали плечами. Во-вторых, не получалось фотографировать. Женщины прикрывали руками лица, а мужчины настойчиво требовали денег: «Ты фотографировал – плати!» И неважно – снимал ли Владимир Николаевич небо или пытался «выхватить» человека, реакция была одна и та же – с них тотчас требовали денег или гнали криками и угрозами.

Продолжать путь им расхотелось. Они постояли несколько минут посреди улицы, повернули назад и вскоре опять уже бродили по центральной площади, заглядывая в каждое турагентство. Им повезло – нужный человек – невысокого роста, коренастый, необычайно говорливый перуанец – нашелся у входа в очередное агентство. Он как раз набирал группу для своего микроавтобуса, при этом его английский язык оказался безукоризненным, словно он родился в Англии. Но, главное, он согласился поработать в Мачу-Пикчу с Владимиром Николаевичем:

– О, Фернандо – тот человек, что вам нужен! Фернандо знает Мачу-Пикчу очень хорошо и готов остаться с вами на целую неделю без дополнительной платы. – Он протянул руку Владимиру Николаевичу:

– Фернандо.

Оформление договора произошло очень быстро. Спустя пятнадцать минут, оплатив половину суммы и договорившись о времени отправления, путешественники вновь вышли на площадь. Отъезд был назначен на утро следующего дня. Девочкам хотелось спать – видимо, сказывался перелет и высокогорье, но они хотели еще немного погулять по вечернему Куско.

Фонари, висающие на старинных столбах, бросали неброский свет на центральную площадь, на словно нарисованные фасады домов. Капли фонтана разлетаясь в стороны, сверкали в этом свете, словно золотые. Небо давно уже опустилось темнотой, уже были не видны вершины гор и даже крыши домов, и

казалось, что жизнь сосредоточилась только здесь, на площади древней столицы инков. Словно по чьему-то приказу открылось множество закусовых. Прямо на улицу выкатывался на крохотных колесиках ларек, открывались дверцы, навешивалась вывеска и через несколько минут торговцы прямо на глазах готовят ужин – жарят картошку и курицу, варят рис и нарезают мелкими кружочками местный сыр и зазывают покупателей.

Девочки остановились у одного из таких ларьков, между продавцом – мальчишкой лет двенадцати – и девочками даже завязался разговор – он торопливо говорил на испанском, они на английском и русском языках. О чем – трудно было понять, скорее всего, они просто выискивали общие звуки в произношении некоторых слов. Владимир Николаевич с улыбкой наблюдал за этим общением.

Неожиданно откуда-то с западной стороны слышался многоголосый шум. Он быстро приближался и неожиданно вырвался на площадь. Добрая сотня выраженных в самые немыслимые костюмы людей, невообразимо вихляясь и танцуя, призывали народ веселиться и радоваться новой ночи. Карнавальное шествие проследовало через площадь, описало большую полукруг и скрылось в одной из северных улиц, унося с собой немыслимый бой барабанов, треск трещоток, вой труб, крики и песни.

Побродив еще немного под темным тропическим небом, путешественники вернулись в отель. Девочки тотчас легли спать, Владимир Николаевич же принялся укладывать вещи, готовясь к завтрашней поездке.

– Камера, документы, деньги, одежда, палатка, спальные мешки, – перечислял он, тщательно укладывая вещи в рюкзак. – Так. Хорошо. Теперь – телефоны и карта.

Телефоны были на месте, но карты не было. Он пошарил в тумбочке, в шкафу, посмотрел на подоконнике, вновь достал из рюкзака все вещи, буквально перетряхивая каждую, но карты найти не мог. Владимир Николаевич не расставался с ней во время всего пути. Он работал с картой и в Москве, и в Мадриде, в Лиме и даже в Куско! Нынешним утром он положил ее в боковой карман рюкзака, ни разу не выпустив его из рук. Но теперь карты не было. Может быть, во время карнавального шествия кто-то из артистов пошутил? Но зачем? Как жалко! – Владимир Николаевич заносил на карту все, делал специальные пометки, пытаясь сопоставить наблюдения Воейкова с современным состоянием страны. Хорошо хоть остался блокнот! Все же основные записи здесь. Он достал блокнот, еще раз перелистал страницы. Придется завтра купить новую карту.

Встали рано. Едва позавтракав, вышли на площадь. Машина – небольшой комфортабельный микроавтобус – уже поджидал их. Водитель – коренатый индеец – подхватил их вещи и предложил садиться. И странное дело – едва он произнес свое «Буэнос диас», Лизе показалось, что она уже слышала этот голос. И сам человек оказался ей знакомым. Если бы не солнцезащитные очки, она готова была поклясться, что водитель, что вез их из аэропорта в отель на берег океана в Лиме, это один и тот же человек! Тот же голос, та же расторопность в движениях. И Фернандо. Определенно она видела его раньше. Лиза уже готова

была поделиться своим открытием с дедом, но в этот момент подошли еще несколько человек-туристов, погрузка закончилась и машина тронулась в путь.

– Путь неблизкий, – улыбнувшись, произнес гид, – почти двести километров, – и, увидев недоуменные лица пассажиров, добавил:

– Расстояние увеличилось в связи с ремонтом дороги.

Спустя пятнадцать минут микроавтобус, выехав за пределы города, весело катил через распаханное поле межгорных долин, через куртины чудом сохранившихся лесов и изредка встречающиеся на пути деревеньки. Фернандо не останавливаясь говорил: то комментировал открывающийся за окном вид, то рассказывал об истории того или другого места. Девочки с интересом смотрели в окно на деревеньки с домами, зажатыми горами со всех сторон.

– Ну и планировка! – все удивлялась Лиза – Дома, словно горошины в ладони – жмутся друг к другу кучей.

– Да уж, – соглашалась с ней Сима, – дорога вдоль главной улицы тянется, тянется – вроде бы и дома неоткуда взяться, а деревенька не кончается – еще дома, еще.

Женщины в платьях из домотканой материи и неизменных шляпах, несущие куда-то огромные тюки. Крестьяне-мужчины с огромными мотыгами работают на тщательно ухоженных полях.

Мелькнул торговец дровами. Стоя у огромной кучи колотых дров, связывал веревкой охапку поленьев и взвешивал ее на самодельных весах – большой, метра два с половиной треноге из жердей. Несколько человек покупателей рассматривают то одну, то другую охапку, словно кусок мяса. Прямо у дорожного полотна три человека месят глину – готовят кирпичи для строительства. Кидают в эту глину солому, перемешивают, придают квадратную форму и раскладывают на солнце сушиться.

Целый час они поднимались по крутым серпантинам все выше на перевал, прошли через полосу зарождающихся облаков, через изнывающий от жарких лучей, истекающий влагой тропический лес, и, наконец, обогнув длинное, в несколько десятков километров ущелье, свернули с асфальта на щебенистую дорогу.

– Обьезд, – пояснил Фернандо и тотчас добавил:

– Водитель – мастер, проедем легко.

Теперь они ехали медленно. Дорога постепенно поднималась все выше и выше, огибая каждую складку стоящей вертикально горы. Перед каждым поворотом водитель отчаянно сигналил, предупреждая встречные машины о своем присутствии. Раз или два пришлось разезжаться, едва-едва уместаясь на узком полотне дороги.

В одном месте пошел дождь. Дорога тотчас впитала влагу, поверхность ее стала скользкой, и девочки перестали смотреть в окно – слишком уж страшно было видеть край пропасти вот так, совсем рядом.

Но все закончилось удачно. Водитель действительно оказался очень опытным, они плавно подкатили к самому въезду в национальный парк «Мачу-Пикчу». Прошли паспортный контроль и въехали на территорию парка.

– Осторожнее, – предупредил служитель парка, – дорога не очень хорошая, были дожди. – Фернандо

лишь улыбнулся в ответ:

– Никто не знает эту дорогу лучше меня.

Через десять – двенадцать километров автобус остановился.

– Приехали, – весело сообщил гид, – дальше пойдем пешком, – и он объяснил, что дальше дорога размыта прошедшими за неделю до путешествия дождями, что место, где они остановились, это место сбора туристов, но повода для расстройства нет:

– До самого Мачу-Пикчу будем идти по самой настоящей тропе инков! – завершил он свое объяснение.

Туристы огляделись вокруг. Действительно – и натопанная тропа уходила вперед, и шум реки был хорошо слышен, и даже рекламные щиты с висящими на столбиках картами говорили о том, что Мачу-Пикчу рядом. И девочки были не одни – все же их целая группа – десять человек разноязыких туристов. Но дорога действительно заканчивалась здесь, и дальше можно было пройти только пешком.

Фернандо перебрисился несколькими словами с водителем, тот кивнул, махнул на прощанье туристам рукой и сел за руль. «Наконец-то», – облегченно вздохнула Лиза, но опять ничего не сказала вслух. Всю дорогу она боялась, что он попытается разлучить их с отцом. А теперь этот неприятный человек уезжает. Наконец-то.

Некоторое время все молча смотрели вслед уходящей машине, затем, когда за поворотом скрылась и сама машина и столб пыли, стояли, прислушиваясь к тишине. Издалека донесся шум реки, а вскоре к нему присоединился стук паровозных колес. Фернандо вновь улыбнулся:

– Агуас-Калиентес недалеко. Нас ждет тропа инков.

Владимир Николаевич кивнул. Он знал, что так называется городок, примостившийся у подножья Мачу-Пикчу, и к нему действительно ведет старинная тропа инков: все это было указано у него на пропавшей карте. Согласно договору с Фернандо, они должны добраться до Агуас-Калиентес, разместиться в гостинице, отдохнуть и утром начать восхождение.

Гид помолчал, еще раз огляделся по сторонам:

– Вообще-то, нас должен встречать проводник. Наверное, он просто опаздывает – были дожди и дорога размыло. – Он постоял еще с минуту, а затем осторожно произнес: – Надо сходить посмотреть.

Он еще раз посмотрел на Владимира Николаевича и предложил им – двум самым сильным мужчинам – отправиться на разведку – осмотреть дорогу, определить лучший путь, затем вернуться и уже спокойно продвигаться к Агуас-Калиентес.

Его объяснения были настолько убедительны, а лицо казалось таким простым и добродушным, что Владимир Николаевич согласился. Он проверил работу телефонов, договорился с девочками об осторожности, о необходимости быть начеку:

– В случае чего – место сбора Агуас-Калиентес. – Фернандо удовлетворенно кивнул и добавил:

– Агуас-Калиентес недалеко.

Сделав с десяток шагов в сторону городка, Владимир Николаевич оглянулся: ему не хотелось оставлять девочек одних. Но они оставались не одни – целая группа туристов с надеждой смотрели на него и на проводника. «Что я, в самом деле, – подумал по-

ходник, – конечно, лучше будет, если мы посмотрим предстоящий путь». Он поднял руку:

– Мы скоро.

Фернандо улыбнулся и тоже повторил:

– Мы скоро.

Оставшиеся туристы некоторое время сидели молча. Солнце висело довольно высоко, было жарко и душно – наверное, опять собирался идти дождь.

Лиза пыталась вспомнить. Эта улыбка. Вот сейчас этот Фернандо улыбнулся. Где же она могла видеть его улыбку? Хороший она наблюдатель – успокоилась, когда уехал водитель. Но где?

И тут Лиза вспомнила, где видела этого человека! Неожиданная догадка заставила ее даже вскочить на ноги. Точно! Так. Прямого рейса на Лиму не было – им пришлось лететь через Мадрид. В Мадриде задержались надолго – часа на четыре. Бродили по аэропорту, смотрели в большие окна на виднеющиеся вдалеке горы, на казавшееся жгучим солнце, сидели в кафе. Здесь то, сидя за столиком у окна, она впервые обратила внимание на невысокого смуглого человека. На подвижной верхней губе густые усы, пригнанный черный костюм... Он? Похож. Очень похож. Вот только усы... А может быть, она что-то пугает? Мало ли на свете смуглых мужчин с усами? О-ох, вот это да! И в московском аэропорту... Когда она рассуждала о Мачу-Пикчу, остановившись перед огромной фотографией. Кажется, он был среди тех, кто что-то переспросил? Только тогда у него была борода, и говорил он на чистейшем русском языке. И потом она видела его еще раз: он разговаривал с каким-то человеком. Точно – и водитель такси, и шофер микроавтобуса – тот второй. Так. Надо срочно найти деда!

В это время Владимир Николаевич вместе с Фернандо вышел к реке. В том, что это Урубамба, путешественник не сомневался – он успел посмотреть на оставшуюся на месте остановки схему. Об этом же говорила и утерянная карта, которую он успел изучить довольно подробно, и схемы, и записи в блокноте. За невысокой грядой вновь мелькнул поезд, и он уже готов был предложить вернуться за остальными туристами, но гид внезапно остановился: дорога действительно была разрушена: поток воды, стекая с горной гряды, промыл глубокий овраг.

– Нужно идти в обход, – указав на обходную тропу, произнес Фернандо. Владимир Николаевич посмотрел назад, посмотрел вдоль русла реки, выписывающего огромную петлю вокруг встающей словно свеча горы и согласился.

Гид свернул в сторону и какое-то время они шли по натопанной тропе.

– Сейчас выйдем к железнодорожной насыпи и можно будет возвращаться, – опять улыбнулся Фернандо.

Они свернули по тропе еще и еще, какое-то время карабкались по склону вверх, но насыпи все не было. Не было слышно ни шума поезда, ни запаха креозота – пропитки шпал, запаха, сопровождающего почти любую железную дорогу. И овраг, как назло, не кончался. Было жарко, рюкзак оттягивал плечи, пот градом стекал со лба, усталость брала верх.

– Здесь все понятно – обойдем овраг и выйдем на дорогу. Надо вернуться, – предложил Владимир Николаевич, – девочки там одни.

– Рано, – возразил Фернандо, – мы еще не дошли

до насыпи. И девочки ваши не одни – там люди, туристы, они с ними. Отдохнем минуту, найдем насыпь и вернемся. – И он протянул Владимиру Николаевичу фляжку с водой.

Тот с благодарностью взял флягу, отпил несколько глотков, вернул ее владельцу и сбросил рюкзак – ему внезапно захотелось присесть хотя бы на минуту. Он успел придвинуть небольшой древесный ствол, успел сесть на него и тотчас провалился в сон...

* * *

...Лиза пыталась позвонить по телефону, но он выдавал только короткие гудки. Она уже готова была бежать за дедом, когда появился проводник, о котором упоминал Фернандо. Было странно – он появился с другой стороны, предложил взять вещи и идти за ним. Сима в нерешительности остановилась:

– Но дед с Фернандо ушли туда, – и она указала на тропу, по которой час назад ушли дед и Фернандо.

– Да, конечно, но здесь чуть короче и удобнее. Мы встретились с ними на тропе. Они с вашим гидом шли вместе, уже, наверное, в городе. Просили проследить за вами.

Это объяснение чуть успокоило девочку, но теперь она торопила всех:

– Скорее, скорее, мы должны их догнать.

Спустя десять минут они вышли к железнодорожной насыпи и пошли вдоль нее в сторону Агуас-Калиентес. Путь шел вдоль Урубамбы, проводник что-то говорил о старинной тропе, девочки же нетерпеливо заглядывали за очередной поворот дороги.

– Сейчас мы увидим Мачу-Пикчу, – прошептала Сима. Лиза заметила, как блеснули глаза сестры, и прибавила шаг. Она, как и Сима, очень хотела увидеть и Мачу-Пикчу, и окружающие город горы, но сейчас ей хотелось как можно быстрее встретиться с дедом. Встретиться и рассказать ему все-все, что она вспомнила!

Но чем ближе они подходили к Агуас-Калиентес, тем все большее беспокойство охватывало и Симу, и Лизу. Деда не было. Неужели он бросил бы их одних? Сестры думали об этом и невольно прибавляли шаг.

– А вот и ваш гид, – проводник указал на Фернандо, ожидающего их на центральной улице Агуас-Калиентес. Оба проводника встретились взглядами и чуть кивнули друг другу. Это их приветствие не ускользнуло от Лизы:

– Где дед? – подбежав к Фернандо, сразу же спросила она. Тот улыбнулся своей добродушной улыбкой:

– Дед ваш не утерпел – уже наверху, в городе, в Мачу-Пикчу, он вас ждет там. – Фернандо посмотрел на часы. – У вас есть еще время. Но сам я не могу подниматься сегодня. По договору, мы должны начать восхождение утром.

– А почему не отвечает телефон? – спросила его Сима. – Или здесь не работает связь?

Фернандо чуть смутился:

– Не знаю, мой телефон работает, – он показал на телефонную вышку, – может быть, батарейка у телефона отключилась или еще какой-то дефект приключился? – Он пожал плечами и добавил:

– Ваш дед наверху. Я взял для вас билеты. Вы еще успеете встретиться с ним наверху до закрытия...

* * *

...Владимир Николаевич очнулся. Сначала он увидел перед собой большие зеленые листья. Они свисали низко и чуть колыхались от едва заметного ветра. Географ провел рукой по лицу, затем по затылку, слегка мотнул головой и тотчас застонал: голова сильно болела, тело ныло, словно его крепко избили. Мгновенно вспомнив весь прошедший день, Владимир Николаевич насколько можно быстро встал на ноги и огляделся. Он находился на той тропинке, по которой они шли с Фернандо, обходя овраг, только солнце прошло почти весь дневной путь и близилось к закату. Его лучи уже едва пробивались сквозь листву. Рюкзак был раскрыт. В нем не было ни карты, ни блокнота, в котором четко записано все, что ему удалось собрать о Воейкове, также записи девочек и некоторые схемы. Не было и телефона.

Вспомнив Фернандо, Владимир Николаевич выругался.

– Так вот тут оказывается что! – крикнул он во весь голос и еще раз огляделся. – Так! – он вдруг ясно услышал стук колес поезда – видимо, железная дорога была рядом. Он подхватил рюкзак и побежал на шум. Сделал он это вовремя – едва ему удалось спуститься с гряды, как из-за поворота выскочил состав – небольшой паровоз и три или четыре вагона, передвигавшийся на повороте совсем медленно. Александру Николаевичу удалось ухватиться за поручни вагона, еще несколько секунд он бежал, пытаясь попасть в такт движению раскачивающегося вагона, затем подпрыгнул, подтянулся и оказался на ступенках вагона. Здесь он рухнул без сил на пол и некоторое время лежал тяжело дыша. Затем, закинув за плечи рюкзак, прошел в вагон и сел в кресло.

«Так кто же такой, этот Фернандо? – думал он. – В воду было подмешано снотворное, это понятно. Но откуда он мог узнать о блокноте?» И вообще, зачем ему это все нужно?

– А, вот ты кто! – неожиданно вырвалось у него вслух. Он вспомнил, что именно этот человек стоял рядом с Виталием у посольства Боливии. Только у него были усы и короткая борода. Так вот тут что!

Оформление билета на посещение Мачу-Пикчу заняло несколько минут. Только автобусы уже не поднимали туристов, и Владимиру Николаевичу пришлось подниматься самому. Когда он достиг последней верхней ступеньки, солнце уже коснулось краем диска горы. Географ бросился к турникету, но именно в этот момент раздался сигнал, означающий завершение экскурсионного дня. Он быстро оглядел развалины, увидев, как сестры исчезают среди камней в том месте, где по их рассказам находился храм Виракочи. Увидел он также и Фернандо, следящего за ними.

– Сима! – крикнул он во всю мощь своих легких – Сима!

Он увидел, как Сима задержалась на миг, огляделась по сторонам, затем скрылась вслед за сестрой...

* * *

...Автобус, накручивая серпантин за серпантин, быстро поднялся наверх, и, спустя полчаса, девочки уже проходили через турникет. Девочки едва сдерживали восторг:

– Вот здесь был храм Солнца, а дальше восседал Всевидящий!

– А именно тут находился храм Виракочи! Не зря мы с тобой изучали историю!

Они бегали по ступенькам вверх и вниз, взгляды-вались в лица туристов, но деда нигде не было. Лиза с самого начала поняла, что они его не встретят здесь, с ним что-то случилось, но она очень надеялась. Вдруг среди россыпи полупригнанных друг к другу камней она увидела Фернандо. Да, это был он. Несомненно, он следил за девочками, но так, как они не стояли на месте, он их в какой-то момент упустил.

– Смотри, Сима, у него в руках пропавшая карта отца!

– Иди скорей сюда, – Лиза потащила сестру за рукав куртки. – Слушай, что я тебе скажу. – И она рассказала Симе обо всех своих сомнениях, обо всех подозрениях.

– Знаешь что, – закончила Лиза свой рассказ, – нам надо спрятаться здесь.

– Где? Мы здесь как на ладони, да и посещение закрывают – видишь, солнце заходит.

– «Где, где», – передразнила ее сестра, – забыла, что говорил Виталий? А подземелье в храме Виракочи! Я уверена, что о нем никто даже не догадывается!

– Давай, – и девочки, выглядывая гида, побежали в ту сторону, где когда-то находился храм Виракочи. Они спешили – солнце действительно готово было вот-вот коснуться боком горы. Уже от турникета донесся призыв покинуть развалины.

– Скорее, – торопила Лиза сестру, – еще несколько минут – и ничего не получится.

Некоторое время они крутились на одном месте, пытаясь отыскать камень, прикрывающий вход в подземелье. Они шарили вокруг, совсем забыв о существовании уже редких туристов, о существовании полиции и Фернандо, хотя изредка бросали взгляд по сторонам.

– Ура, – едва сдержав крик, Сима отодвинула плиту. Плита поддалась легко – видимо древние мастера запрятали в камне какой-то шарнир. Оглядевшись по сторонам, Лиза юркнула вниз. Сима на секунду замешкалась: ей показалось, что она услышала голос деда. Она прислушалась – нет.

– Показалось, – прошептала Сима и, спустившись за сестрой, задвинула каменный люк.

Девочек охватило волнение – они находились в старинном тоннеле. Сима поспешно включила вмон-

тированный в телефон фонарь и девочки двинулись вперед.

– Похоже, здесь долго никого не было, – брезгливо снимая с лица паутину, пробормотала Лиза.

– Похоже так.

Вскоре перед ними опять открылся огромный расписанный красочными картинками зал. Видно было, что ткань на рамках обветшала и картины написаны давно, но краски казались свежими.

– Странно, – пробормотала Лиза, – холст в рамках того и гляди порвется от ветхости, а краски словно вчера подправлены. – Сима подошла к ближайшей картине, дотронулась до холста и провела пальцами по изображению – словно вырванному из далекого прошлого кусочка жизни. Затем словно механически поднесла пальцы к лицу:

– Пахнет свежей краской..

– Но мы же только что пробивались через сплошную сеть паутины, – в тон ей проговорила Лиза.

Сима направила луч фонаря вперед. Он осветил уходящий в темноту зал осветил уходящий в темноту зал, только дальше паутины не было. Словно под каким-то странным гипнозом девочки сделали несколько шагов вперед за растворяющимся впереди светом фонаря и вдруг почти уткнулись в тяжелую каменную дверь.

– О-го, – только и сумела произнести Сима.

– О-го, – вслед за ней тихо повторила за ней Лиза и протянула вперед руку.

– Не трогай! – крикнула Сима, и в этот миг у них за спинами что-то упало, грохнуло, тотчас раздалось недовольное чертыханье, и спустя несколько секунд они увидели какую-то непонятную фигуру, хромящую, сплошь увешанную нитками паутины. Еще секунду спустя эта фигура провела руками по лицу, сдвигая с себя ключья паутины, и девочки увидели физиономии ненавистного гида.

– Бежим, – крикнула Лиза и нажала на плиту, держащую дверь. Та бесшумно открылась, пропуская девочек вперед.

– Лиза, стой, подожди, – закричала Сима и бросилась за ней. Она успела схватить сестру за руку. Их закружило, закрутило и понесло. Она еще успела увидеть искаженное от испуга лицо Фернандо, перед ней промелькнула вершина Уайна-Пикчу, лица деда и папы, и все пропало..

Продолжение следует.





Светлана НЕФЁДОВА

50 ЛЕТ ОБЛАСТНОЙ ФОТОВЫСТАВКЕ

Ульяновская областная фотовыставка «Ульяновская область – территория талантов» отметила в этом году полувековой юбилей. И посвящена она была тоже юбилейным датам: 75-летию Ульяновской области и 60-летию регионального отделения Союза журналистов России.

История областного фотовернисажа, учрежденного Ульяновским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», берет начало в 1963 г. Тогда выставка называлась «Родина Ильича». Участие в ней принимали и профессиональные фотографы, и любители. Имена некоторых из них, ставших мэтрами региональной фотожурналистики, теперь носят специальные призы фотовыставки: Авксентия Галагозы (Гран-при), Александра Маркелычева (за вклад в развитие региональной фотожурналистики), Алексея Кубарева (за новаторский взгляд в фотографии), Льва Игонина (за оригинальный взгляд).

В начале 2000-х областная выставка не проводилась из-за проблем с финансированием, пока поддержку ей не стал оказывать департамент массовых коммуникаций (сейчас – Управление информационной политики администрации губернатора Ульяновской области).

По-прежнему областная фотовыставка открыта для участия всем любителям фотоискусства. Ежегодно в оргкомитет фотовыставки поступает до тысячи фотографий, выполненных во всех известных жанрах (портрет, пейзаж, жанровая фотография, репортаж, эксперимент, спорт и др.). В финальную экспозицию входит обычно, около ста работ, отобранных экспертным советом. Каждый год выставка

открывает новые имена в фотографии и демонстрирует новые шедевры. А на юбилейной фотовыставке представлены и снимки из семейных архивов ветеранов ульяновской журналистики, отражающие работу редакций газет, радио, телевидения и репортеров прошлых лет.

Открытие пятидесятого фотоконкурса началось с вручения специального приза за вклад в развитие региональной фотожурналистики, который был присужден посмертно известному ульяновскому фотографу Юрию Белозерову. Диплом и награду получила его вдова Людмила Викторовна.

А победителями 50-й областной фотовыставки стали:

Евгений Софронов в номинации «Пейзаж» («Утренняя рыбалка»),

Алексей Круглов в номинации «Портрет» («Ветер в бороде»),

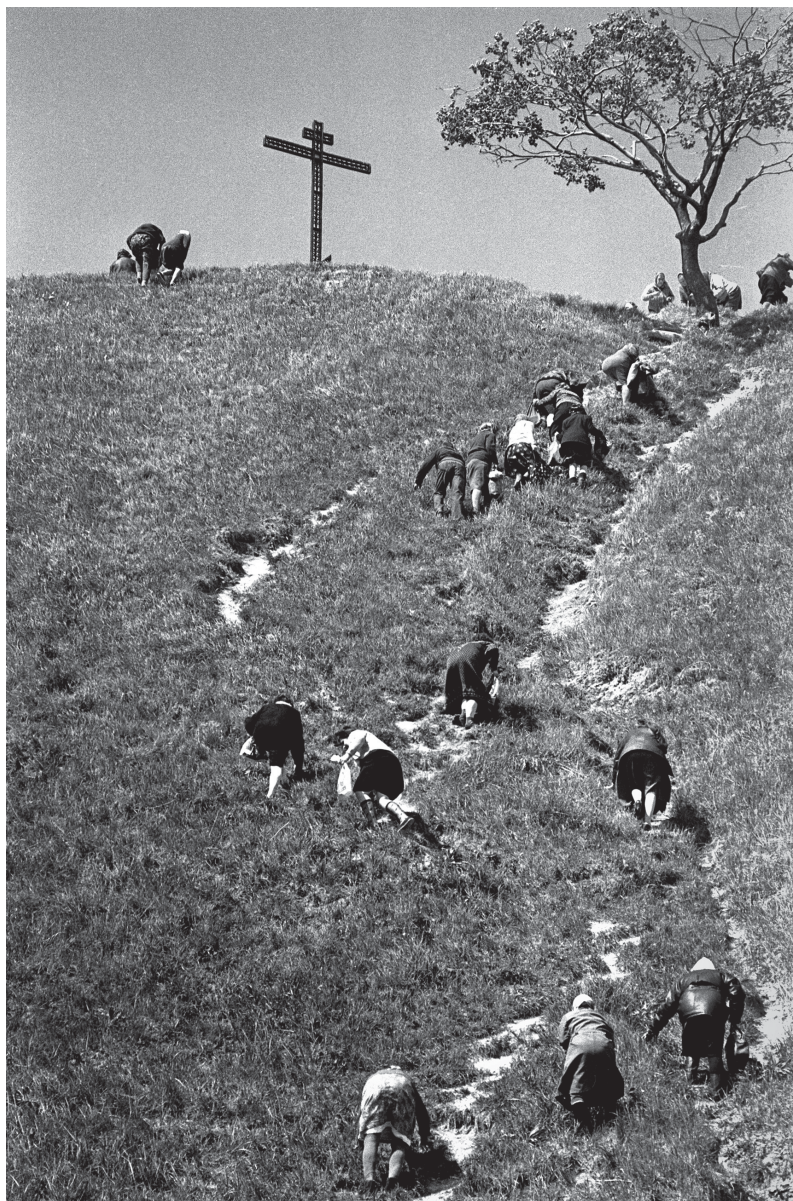
Михаил Четин в номинации «Жанр» («Селфи с губернатором»),

Владислав Никишин в номинации «Спорт» («Площадки-ринг»).

Специальные призы были вручены Виктории Чернышевой («Президентский мост») и Владимиру Кочеткову («Праздник»).

Гран-при фотовыставки была удостоена философская работа Владимира Ламзина «Портрет хирурга».

До начала июня фотовыставка экспонировалась в музее Ленинского мемориала, а затем, до конца года, «проедет» по муниципальным образованиям Ульяновской области.



Владимир Ламзин. «Николина гора»





Владимир Ламзин. «Хирург»



Владимир Ламзин. «Звонарь»



Алексей Круглов. «Ветер в бороде»



Михаил Четин. «Селфи с губернатором»



Наталья Дмитренко. «Дети Ульяновска»



Евгений Софронов. «Утренняя рыбалка»



Владимир Кочетков. «На утренней зорьке»



Олег Белов. «Ахтырские гусары»



Владислав Никишин. «Сенокос»



Ольга Кузьмина. «Скульптор Евгений Усерднов»



Ира Солнечная. «Сказка в гости к нам пришла»



Михаил Шнейдер. «Художник Александр Зинин»



Артур Рогов. «Портрет»



Вадим Ластун. «Волга»



Евгений Софронов. «Феерия мухоморов»

ВРУЧЕНИЕ ГОНЧАРОВСКОЙ ПРЕМИИ

17 июня на площадках 40-го Всероссийского Гончаровского праздника и XIV Обломовского фестиваля прошло около 70 мероприятий, посвященных 206-й годовщине со дня рождения писателя.

Губернатор Сергей Морозов принял участие в совещании молодых литераторов «На родине И.А. Гончарова», вручил ежегодную премию молодым работникам сферы культуры и искусства Ульяновской области «Обломовское яблоко». Торжественным событием стало вручение Международной литературной премии имени И.А. Гончарова. «В 2006 году мы приняли решение об учреждении собственной литературной премии имени Ивана Гончарова. Она появилась, выросла и окрепла, а в юбилейный год писателя приобрела статус международной. Мы с радостью и гордостью отмечаем, что сегодня Гончаровская премия



Камиль Зиганшин получает Гончаровскую премию

является большим литературным событием и культурным явлением, входит в перечень главных литературных премий России», – сказал глава региона.

На соискание премии в этом году было подано 39 заявок из 21 региона России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, США.



Константин Сазонов – лауреат премии в номинации «Ученики И.А. Гончарова»

В номинации «Мастер литературного слова» лауреатом Международной литературной премии имени И.А. Гончарова стал член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ Камиль Зиганшин из Уфы за книгу «Возвращение россомахи».

Также лауреатом премии в номинации «Ученики И.А. Гончарова» стал выпускник факультета журналистики Оренбургского государственного университета, журналист, писатель, член Союза



С.И. Морозов вручает премию Ивану Пыркору

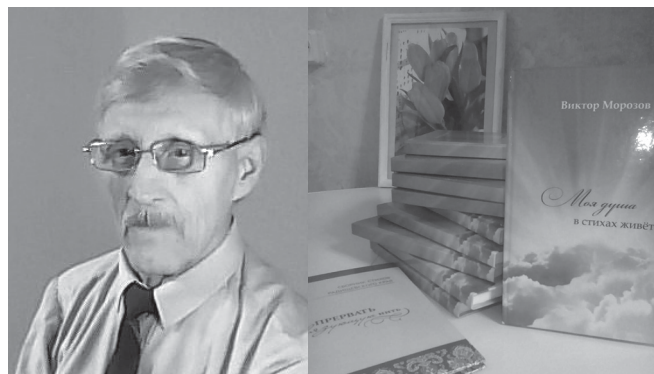
журналистов России ульяновец Константин Сазонов за роман «Фома верующий».

Лауреатом премии в номинации «Наследие И.А. Гончарова: исследование и просветительство» стал кандидат филологических наук, доцент Саратовской государственной юридической академии, член Союза писателей РФ Иван Пыркоров (уроженец Ульяновска, сын поэта Владимира Пыркова). Премия присуждена также Стивену Пёрлу (Нью-Йорк, США), переводчику романов «Обломов», «Обыкновенная история» – за популяризацию творчества И.А. Гончарова на международном уровне. (Видеообращение американского лауреата было продемонстрировано на церемонии.)

Лауреаты премии выразили глубокую благодарность главе региона и комиссии по присуждению премии за высокую награду.

НОСТАЛЬГИЯ ПО МАЛОЙ РОДИНЕ

В поселке Радищево Ульяновской области прошла презентация поэтического сборника Виктора Морозова «Моя душа в стихах живет», изданного в Сызрани. Сам поэт не дожив несколько месяцев до 80-летнего юбилея, скончался 23 марта 2017 года в селе Большая Уса Куединского района Пермского края. Книгу помогли издать его друзья – редактор сборника, поэт Владимир Варламов и фотохудожник Владислав Селищев. Кроме них на презентации в районной библиотеке имени А.Н. Радищева собрались исполнитель авторских песен из Сызрани Виктор Железнов, поэтесса Любовь Гребенникова, директор библиотеки Татьяна Иванова, местные литераторы и любители поэзии.



Виктор Морозов

Поэт Виктор Александрович Морозов родился 17 ноября 1937 года в городе Дзержинске Горьковской области в рабочей семье. Накануне войны родители переехали в село Адоевщина на речке Терешке в нескольких километрах от Радищево, а отец вскоре ушел на фронт. В Адоевщине прошли детство и юность Виктора Морозова, родилась любовь к литературе, появились первые поэтические строки. Десятилетку он окончил в поселке Радищево, куда вернулся и после армии. Позже заочно окончил Пермский педагогический институт, работал учителем физики в школе. В последние десятилетия жил с семьей в селе Большая Уса Пермского края, но ностальгия по малой родине то и дело тревожила душу, прорываясь в поэтические строки.

В предисловии к книге Владимир Варламов пишет: «Во многих произведениях Виктора Морозова звучит грусть об ушедших годах, о наступившей осени жизни, сожаление о том, что мало за свои почти восемьдесят сделал для страны, друзей и близких людей, о долге перед своей малой родиной. И в то же время автор гордится тем, что сумел сохранить в душе любовь...». Как раз о любви и написано большинство сти-

хотворений этого сборника. Деньги на книгу собирали всем миром, и вдова поэта Валентина Ивановна Морозова на последней странице выразила от всей души благодарность за оказанную помощь и пермским, и ульяновским коллегам и друзьям автора.

На презентации В. Варламов и В. Железнов исполнили под гитару две песни, написанные ими на стихи Виктора Морозова. В выступлениях была отмечена образность и лиричность его поэзии. В исполнении участников литературной встречи звучали стихи автора о родном крае, о его душевных переживаниях. Это уже вторая книга поэта, первый сборник стихов «Любовь земная» вышел в 2016 году, он тоже был издан в Сызрани и разослан во все библиотеки Радищевского района. Виктор Морозов не был профессиональным литератором, но стихотворчество стало для него любимым увлечением на всю жизнь. И признание на малой родине говорит о том, что его поэтический мир близок и понятен землякам. Предлагаем читателям журнала «Симбирскъ» несколько стихотворений из нового сборника Виктора Морозова.

*Николай Марянин,
поэт и краевед*



Виктор МОРОЗОВ

«МОЯ ДУША В СТИХАХ ЖИВЕТ»

ТАКАЯ НОЧЬ

Я проклял эту ночь. Дрожал
Под полотном ночной рубахи.
Мне все казалось, что лежал
На свежевystруганной плахе.

Покою не было конца.
Остановить в душе разруху
Молил погибшего отца,
И сына, и святого духа.

...Сентябрь. Тридцатое число,
Земля моя не просит Бога –
Соседей снегом замело,
Никто не выйдет на дорогу.

Встал и встряхнулся, погляжу,
Как она, жизнь, у нас, у смелых?
Три клена в землю посажу,
Пока еще обледенелых.

Не целоваться со столбом
Зимой по случаю пирушки,
Покуда солнце за окном,
И есть вино в зеленой кружке.

И только бы не пир чумной,
Где разум, кленом леденя,
Венчает ведьму с сатаной
В стенах бессмертного Кашея.

* * *

Теплым летом пахли ели.
Ночью осень, днем весна.
На мосточках, где сидели,
Сладко было, не до сна.

Не могли разнять над речкой
Рук сплетенных мы с тобой.
...Унесло колечко в речку
Неминуемой бедой.

Замолчала, загрустила,
Ни открытки, ни письма.
...Глубоко колечко милой,
Не достать его со дна.

В людях суды-пересуды.
Я один и ты одна.
То, чего коснуться люблю,
Ярко светится со дна.

Опустила губы в речку
Ночью ясная Луна,
Хочет лунное сердечко
Выпить Терешку до дна.

Сладким летом пахнут ели.
Ночью осень, днем весна.
Позабылось, где сидели –
Я один и ты одна.

ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ

Кружи, любовь, сжигай дотла,
Пока безвольный и беспечный,
Останется одна зола,
И жизнь в золе песчинкой вечной.

Пришедший будет пепел брать,
Просеивать круги сквозь пальцы,
И что-то будет возгорать
В мятежной памяти скитальца.

И будет новая зола
Немного горячей и чище,
И что-то не сгорит дотла
В огне любовного кострища.

Течет река, как и века,
Парок с дымком над берегами.
Когда, и с кем, и чья рука
На дне найдет горячий камень?

ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ СТО РАЗ

Зрелый лист летит без слез,
Вьется желтая пороша,
У скамейки сто берез
Греют стылые калоши.

Эта поздняя пора
Догорает алой зорькой.
Поцелуй меня сто раз,
А сто первый сделай горький.

Поцелуй меня сто раз,
Пусть сто первый будет сладкий,
Я закрою левый глаз,
Чтоб слезу сливать украдкой.

Как придет сто первый год –
На завалинке у дома
Вспомнит мой беззубый рот
Сладко-горькую истому.

ЖИТЬ ОХОТА

Снова ветер дурью дышит,
Тропку снегом завалил,
Завернул подол у крыши
От карниза до стропил.

Истоплю сегодня баньку,
Загоню на полку пар.
Эх, суббота, жить охота,
Забодай меня комар!

Нашепчу подружке в ушко:
«Заходи, не трусь жары»,
И напомним ей про кружку
Славной пушкинской поры.
А на полке с мятой веник,
Облака до потолка.

Веник мой не стоит денег,
Подставляй свои бока!

На двоих один сработан,
Чтобы жечь шальную кровь.
Ох, суббота ты, суббота,
Ох ты, банная любовь.

УХОДИТ ОСЕНЬ

Уходит осень, немного грустно,
Жду дней погожих, а их все нет,
А на окошках моих искусно
Мороз рисует зимы портрет.

Дни стали кратки, длиннее ночи.
Тепло уходит, так не на век..
Устала осень, смежила очи,
Чтоб спать улечься на белый снег.

Спи, наслаждайся под саркофагом
Небесной сини на склоне дней.
Ночь сон укутает звездным флагом
С закатом красным в сто фонарей.

Уходит осень. Грустить не стоит.
День долгожданный, день Покрова
Ворвется завтра в мои покои
И скажет тихо любви слова.

НЕ ГОРЮЙ

Горьких слез ронять не надо,
Зря, подружка, не горюй.
Для меня твоя награда –
Безгреховный поцелуй.

Успокойся, лучше станет,
И легко задышит грудь.
Если вдруг тоска нагрянет,
Разберемся как-нибудь.

Ты всю жизнь была отрадой,
И покладистой в делах,
Было все добром да ладом,
Прогони из сердца страх.

Жить в подлунном мире надо
Чуть свободней, не горюй.
Для тебя одна награда –
Мой греховный поцелуй.

КУДА ТЫ, МАМА?

Мама, мама! Куда ты идешь?
Там у леса – густые туманы.
Да и в поле цветущую рожь
Не пройдешь!
Не ходила бы, мама.

Немудреную обувь надев,
А на тело росинки да стужу,

Все косила да пела напев,
Как давно горевала по мужу.

Мама, мама, куда ты ушла,
Не слышать, и не правишь ты косу.
Видно, в сердце сгорели дотла
Песни горя в туманы и росы.

ПЕРЕСЕЧЬ БАРЬЕР

Грустишь? И я на зорьке
Грущу подолгу горько,
И светлой перспектива не видна.
Несет, куда не знаю,
Распутица земная,
Чужая, неудобная страна.

Давно ли это было?
Отцовские могилы
И ковыли степные потерял.
Душа исходит стоном –
Ромашкам и пионам
Пишу теперь красивый мадригал.

Все думаю: где прежде
Шанс потерял в надежде
Потенциальный пересечь барьер?
И ноют моралисты –
Шопены, Бахи, Листы,
И чтоб ни написал – не тот размер.

ОТКУДА ТЫ, ГРУСТЬ?

Беспричинно ль, по наитью
Каждый год все круче грусть,
Вроде как слова в забытии
Те, что помнил наизусть.

И в раю бабуля Фекла,
Что из рода волгарей.
Вроде, Терешка иссохла,
Где ловил я пескарей.

Позабыты все припевки –
Не припевки, а огонь,
Те, что пели наши девки
Под Кирсанову гармонь.

Пролетают годы мимо,
Стал, как лунь, совсем седой,
То ли с совестью ранимой,
То ль ушибленный судьбой.

Не растят за Мойкой милой
Ни арбузы, ни морковь,
И давным-давно забыл я
Свою первую любовь.

КОРОЛЕВА

Одно только слово ко мне,
Поймаю гнедка на скаку.
Я жил в стременах на коне,
С копьём и клинком на боку.

Зачем мне нагайка и кнут?
Лишь песня лихая друзей
Прикажет – пойду на войну,
Служить королеве моей.

...Простите, страна и друзья,
Что все это ложь и обман:
Не биться за верность в боях.
Исчез мой лихой атаман.

Пределы мои и края
Другим раздарил человек,
И ты, королева моя,
Несладко кончаешь свой век.

Меня, словно зверя зверей,
Ждет хитрый каганский капкан.
За зеленью теплых морей
Молчит мой лихой атаман.

ВАЛЕНТИНЕ

Стоял июль, ржаной и васильковый,
Звенели дни то зноем, то дождем,
Я улыбался им, как месяц новый,
Прибитый к небу золотым гвоздем.

...Письмо в моей руке. Конверт знакомый.
Красивый почерк. Ждал, не спал ночей.
Дыша, сгорал той сладостной истомой,
Что пережил при первой встрече с ней.

Дни первых встреч. Их было так немного.
Щадит ли время тех, кто долго ждет?
Щадит. Она нашла ко мне дорогу,
И я забыл, как ждал за годом год.

– А вот и мы!.. –
Она тогда сказала,
И повторил слова просторный зал
Старинного сызранского вокзала,
Где первый раз ее поцеловал.



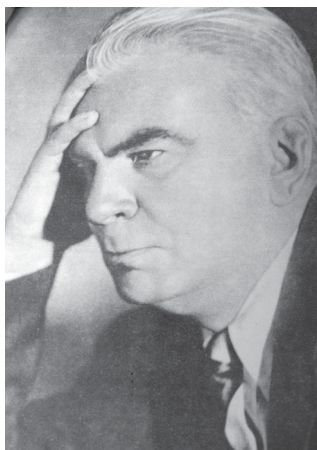


КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ольга ДАРАНОВА, ученый секретарь Дворца книги, автор проекта «Голоса из хора». «Русская поэзия XX века»

СИННЯЯ ВЕСНА ВЛАДИМИРА ЛУГОВСКОГО

Я твой, живое время, весь я твой!



*Владимир Луговской
(1901 – 1957)*

Забытый поэт

Я расскажу вам о поэте, которого люблю, которого хочу, чтобы полюбили вы и которого нельзя не знать и не любить. Владимир Луговской. Один из самых известных поэтов начала 20 века, литературная звезда первого ряда конца 20-х и 30-х годов. Романтик, воспевавший революцию. Стихи его были наполнены сверкающим восторгом жизни, где велся постоянный во все времена бой за счастье человечества. Поэт с непростой личной судьбой, переживший глубокий личный кризис, но сумевший вернуться к читателю с новыми стихами, философски осмысляющими прожитую жизнь.

С кем сегодня можно поговорить о Луговском? Кто помнит его стихи? О нем не вспоминают даже его потомки, считая неудачником, «выплюнутым новой эпохой».



Однако все же вспомнили... В 2015 году издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет серию небольших книжечек под грифом «Библиотека Захара Прилепина». Среди них был и сборник стихов Владимира Луговского «Пока капкан судьбы не щелкнул...». В предисловии Захар Прилепин пишет: «Была эпоха титанов, на памяти великие имена: Блок, Есенин, Маяковский, Ахматова... Потом пришли Багрицкий, Тихонов, Луговской. А был еще второй и третий ряд, в котором и довоенные ученики Луговского, и честные солдаты Великой Отечественной, авторы фронтовых песен, фронтовой лирики – все куда-то запропали, всех снесли в чулан, а кого-то и на помойку выбросили. Чтобы разглядеть любого из них, нужно долго, чихая, протирать тряпкой давно упавший бюст, вглядываясь в гипсовые черты: кто же это? Чего он написал-то?». Захар Прилепин приглашает: «...заглядывайте в наш «Букинист». Быть может, ваше сердце вздрогнет, и вы удивитесь: боже мой, отчего я не знал таких прекрасных стихов?».

Мое знакомство с поэзией Владимира Луговского началось еще в школе, со стихотворений «Медведь» и «Костры»... Помню ощущение большого, былинного пространства в стихах, ощущение одновременно страстной любви к миру и неотпускающей тревоги за него. С тех пор темно-вишневый томик стихов Луговского 1976 года, вышедший в серии «Поэтическая Россия», неизменно стоит в первом ряду моего книжного шкафа.

Пощади мое сердце и волю мою укрепи,
Потому что мне снятся костры
В запорожской весенней степи.
Слышу – кони храпят,
слышу – запах горячих коней,

Слышу давние песни вовек не утраченных дней.

Вижу мак-кровянец,
с Перекопа принесший весну,
И луну над конями – татарскую в небе луну.
И одну на рассвете, одну, как весенняя синь,
Чьи припухшие губы горчей, чем седая полынь...

Укрепи мою волю и сердце мое не тревожь,
Потому что мне снится вечерней зари
окровавленный нож,
Дрожь степного простора,
махновских тачанок следы
И под конским копытом холодная пленка воды.

Эти кони истлели, и сны эти очень стары...
Почему же мне снова приснились
В степях запорожских костры?

Унеси мое сердце в тревожную эту страну,
Где на синем просторе тебя целовал я одну.
Словно тучка пролетная,
словно степной ветерок –
Мира нового молодость – мака кровавый цветок.

...Может быть, это старость, весна,
Запорожских степей забытье?
Нет! Это – сны революции,
Это – бессмертье мое.

Луговской – это поэтическое явление, несправедливо обойденное нашим временем. «Удивляться надо, – писала в своих заметках к книге его сестра Татьяна Луговская, – сколько всего ему было отпущено природой: рост – великаний, плечи – косая сажень, голова – ни одна шапка не лезет, волосы – лесная чаща, голос – люстра качается, лицо четкое, как из камня выбитое, сила богатыйская».

Только проницательная Анна Ахматова отметила, что Луговской скорее мечтатель с горестной судьбой, нежели воин. Отсюда гипертрофированная ранимость души вследствие ее беспомощной открытости миру, беззащитности, которые резко контрастировали с его ростом, мощью фигуры, статностью.

Сегодня его стихи и поэмы нуждаются в новом прочтении как яркое явление русской литературы XX века.

Красные чашки

Владимир Луговской родился в Москве 1 июля 1901 года на улице Поварской. Его предки по линии отца и матери были священниками. В доме царила атмосфера добра, классической культуры, добрых старых русских традиций. У детей была гувернантка, фрейлина Аделина, немка. А «сказки несусветные» им рассказывала и во двор гулять водила няня Катерина Кузьминишна, с гордостью заявлявшая, что родом она из деревни Непрядвы, что на Куликовом поле. Все в доме дышало заботой, добротой, уютом, довольством. Маленький Володя любил, когда нянька затапливала печку. Слушал, как печка гудит. Этот звук, как звук ветра, сопровождал его всю жизнь и был для него звуком начала жизни, взросления, тепла, защищенности.

Отец, Александр Федорович Луговской, был не просто учитель – его знали как одного из умнейших

людей Москвы. Он владел двенадцатью языками, включая латынь и греческий. «Отец любил водить меня по Москве, возил по старинным русским городам на Севере, в Поволжье, на Оке, раскрывая передо мной все богатства великой русской культуры и прививая мне любовь к родной старине», – писал поэт в своей автобиографии.

Семья снимала дачу под Москвой, которую до них много лет снимал композитор Скрябин.

Маленький Володя строил города из кубиков, прекрасно пел и играл на рояле, с детства изучал языки. В школе он отличался «феноменальной неспособностью к математике и фантастической приверженностью к истории, географии и литературе». Его влекли корабли, морское дело и ...Средняя Азия. «Даже не могу объяснить, почему она с ранних лет влекла меня. Я подолгу застаивался перед картинами Верещагина и хорошо знал карту хребтов и дорог великих азиатских просторов». Быть может, Судьба уже тогда определила ему путь – от «Курсантской венгерки» первых лет Октября через бескрайние просторы родной земли, нескончаемые дороги из Москвы к берегам Каспийского моря, в горы Дагестана, в Азербайджан, в страны довоенной Европы и потом далеко на восток, в среднеазиатские республики, где советские люди боролись с песчаным адом, одолевая его и превращая пустыню в светлые оазисы – определила эти бесконечные дороги, на которых поэт встречался с людьми Будущего, теми, кто строил Фархадстрой, мартены Беговата, новые города.

А пока...

Я помню:

В детстве, вечером, робея,

Вхожу в столовую —

И словно все исчезли

Или далеко заняты все непонятным делом,

А я один — хозяин всех вещей.

Мне светит лампа в бисерном капоте,

Ко мне плывет семейство красных чашек,

Смешливый чайник лезет, подбоченясь,

И горячо вздыхает самовар.

Я вижу странный распорядок света,

Теней и звуков, еле-еле слышных.

Я захочу — и сахарницу сдвину:

Она покорно отойдет направо

Или налево — как я прикажу.

Такой закрытый, осторожный, теплый

Мир небольших предметов и движений,

И самовар с его отдельной жизнью.

Уверенность и легкая свобода

Вдруг начинают волновать меня.

Ненастоящий, непростой покой

Тревожит, заставляет бегать, дергать

Углы у скатерти и наконец ведет

Меня к окну.

Я отворяю створку

И застываю, хмурясь и дрожа.

И вот в этот благополучный мир мальчика из хо- рошей интеллигентной семьи врывается иной мир, беспокойный, тревожный и непонятный:

Кромешный мрак, косматое смятенье

Кидаются ко мне в осеннем ветре,

В полете фонарей, в костлявой пляске сучьев,

В ныряющей или прямой походке

Каких-то исчезающих людей.

Квадраты тьмы сшибаются и гибнут,

Взлетают липы, чтобы снова падать,

В окне напротив мечется и гнется

Неведомый, сутулый человек.

И толстенные лошади проходят,

Перебирая мелкими ногами.

На них глядят стоглазые дома.

И высоко, в необъяснимом небе,

Шипя, скользят мерцающие звезды.

В «Автобиографии» поэт напишет: «Грозной тенью надвинулась Первая мировая война. Сначала она пришла трофейными германскими касками, ослепительными олеографиями побед, лихих рубок и подвигов, а потом стала оборачиваться иной, страшной сущностью». Этот мир резко контрастировал с его привычным домашним мирком:

И я стоял, глотая шум и сырость,

Переполняясь страшным напряженьем

Впервые понятой и настоящей жизни.

Весь этот мир, огромный, горький, черствый,

Вздыхающий нетерпеливым телом,

Меня навеки приковал к себе.

Я обернулся к шепоту столовой,

Увидел распорядок красных чашек,

Покой обоев, шорох самовара,

Законченный в себе приют вещей,

Возможность делать ясные движенья —

И засмеялся диковатым смехом.

Я засмеялся и смеюсь опять.

Я отворяю окна, ставни, двери,

Чтобы врвался горький ветер мира

И славная, жестокая земля

Срывала вороватые прикрасы

Ненастоящих, непростых мирков,

Которые зовутся личным счастьем,

Лирической мечтою об удаче,

И красной чашкой, и уменьем жить.

В тот миг, наверное, я стал поэтом,

За что меня простят мои враги.

«Красные чашки», 1932

Ветер революции

Фоном его юности была Первая мировая, он называл ее патетично – «Великая Война». Его наставниками оказались раненые солдаты в госпитале, где он работал после уроков. А в соседнем с его гимназией училище сдавались юнкера... Дымилась догорающая дома у Никитских ворот, на стенах домов висели первые декреты о мире и земле. У Кремлевской стены Москва хоронила красногвардейцев. А на общем собрании в школе его одноклассники вдруг неожиданно разделились на две половины одной непроходимой чертой... В своей «Автобиографии» он писал: «Октябрь повернул и перевернул все мои мысли, заставил почти задохнуться ветром времени, и с тех пор слово «ветер» в моих стихах стало для меня синонимом вечного движения вперед, неуспокоенности, бодрой и радостной силы».

Досрочно окончив гимназию, Луговской поступает в 1-й Московский университет, не закончив его, уезжает в Полевую контроль Западного фронта. А ему еще нет восемнадцати... «Романтика революции, необыкновенный подъем, который я ощущал в те дни, незабываемы».

После окончания Главной школы всеобщая, а в 1921 году – Военно-педагогического института, поэт вновь попадает на Западный фронт, заканчивает пехотные курсы, служит в политотделе Западного фронта. Он становится профессиональным военным и проходит полный круг должностей – от курсанта до командира и политработника. В 1926 году выходит первая книга стихов Луговского «Сполохи». В этом же году «Песня о ветре», в котором явно слышатся отголоски поэмы Блока «Двенадцать»:

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русской речью –
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

По-чешски чешет, по-польски плачет,
Казачьим свистом по степи скачет
И строем бьет из московских дверей
От самой тайги до британских морей.

«Песня о ветре», 1926

Пустыня и весна

Лучшие стихи о Востоке Луговской посвятил Туркмении и Узбекистану, людям, приносящим весну в пустыню, утверждающим жизнь там, где веками только ветер шевелил гребни песчаных холмов.

В 1930-м поэт в составе так называемой туркменской писательской группы – Николай Тихонов, Григорий Санников, Всеволод Иванов, Леонид Леонов и Петр Павленко – едет в Среднюю Азию. Поэт вспоминает: «Мне пришлось побывать в пустыне и на границе, в горах Копет-Дага, проплыть по Аму-Дарье от Керков до Чарджоу на парусном каике. Гром тракторов той весны, героика колхозных будней Туркмении, тысячи лиц, море красок навсегда остались в памяти и определили целый этап в моем творчестве – эпопею «Пустыня и весна», которую я, то отходя от этой книги, то снова возвращаясь к ней, писал в продолжении почти четверти века».

Снова, как прежде, снова тюльпаны
На сизых увалах. Снова весна.
Горы вы, горы, откосы, туманы,
Тихих, далеких дождей пелена.

Вот она, молодость! Здесь за холмами,
Над черными пашнями, над молодой
Горькой полынью синее пламя
Над ослепительной водой.

Жизнь моя! Вы, позабытые лица,
Невероятных годов голоса.
Мчатся сквозь них перелетные птицы,
Поет, одурманившись степью, оса.

Как будто уснул и проснулся – и вышел
В юные годы и гордые сны,
Чтобы, взлетая все выше и выше,
Пела душа, добиваясь весны.

Возвращение, 1947 г.

Он всегда с головой окунался в гущу жизни, ее яростных событий. Красивый, добрый, сентиментальный, двухметровый мужчина-подросток – его хватало на многое. Он умел радоваться успеху своих собратьев по перу, умел дружить, долгие годы его связывала чистая дружба с Тихоновым и Фадеевым: «Жили мы дружно, интересно, молодо...». Как верно отметил поэт Николай Тихонов: «Он был удачейнейшим в мире человеком. Удача шла впереди и сзади него. Удача шла ему, как военная форма, простая и все же изумительная».

В одном из писем к Луговскому писатель Александр Фадеев напишет: «С каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе – о том, что ты существуешь на свете и что ты – мой друг... Ты стал очень необходим мне, милый старый медвежатник, и я рад наедине со своей совестью сказать тебе эти наивные, но правдивые и большие слова...».

Из воспоминаний Людмилы Голубкиной, дочери: «...Он появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному, даже щеголевато одетый. Как будто из другого мира... Все в нем было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной».

Вздыбленная Европа

В 1935 – 1936 годах в составе группы советских поэтов Луговской совершает большое путешествие по Западной Европе. Он побывал в Польше, Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Англии, Германии и Франции. Европа беспокойна, идут демонстрации Народного фронта во Франции, начинается великая борьба испанского народа за свободу, Италия захватывает Абиссинию, в Германии на всех перронах грохочут барабаны, маршируют серые колонны фашистских войск. Луговской в это время с особенной силой тянется к теме советской родины, вспоминает Гражданскую войну, свою юность:

Сегодня не будет поверки,
Горнист не играет поход.
Курсанты танцуют венгерку,-
Идет девятнадцатый год.

В большом беломраморном зале
Коптилки на сцене горят,
Валторны о дальнем привале,
О первой любви говорят.

На хорах просторно и пусто,
Лишь тени качают крылом,
Столетние царские люстры
Холодным звенят хрусталем.

Комроты спускается сверху,
Белесые гладит виски,
Гремит курсовая венгерка,
Роскошно стучат каблучки.

Летают и кружатся пары,
Ребята в скрипучих ремнях
И девушки в кофточках старых,
В чиненых тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает
Огромные медные рты.

...Полгода не ходят трамваи,
На улице склад темноты.

И холодно в зале суровом,
И надо бы танец менять,
Большим перемолвиться словом,
Покрепче подругу обнять.

Ты что впереди увидела?
Заснеженный черный перрон,
Тревожные своды вокзала,
Курсантский ночной эшелон?

Заветная ляжет дорога
На юг и на север – вперед.
Тревога, тревога, тревога!
Россия курсантов зовет!

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме,
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

На хорах – декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам;
Четверку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь.
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет девятнадцатый год.

«Курсантская венгерка», 1940

В 1936 году Луговской успешно выступает в Лондоне. «Советский Киплинг» станут называть его в оставшиеся до войны годы.

Во Франции у Луговского случился роман с прекрасной переводчицей их группы Этьеннеттой, «парижанкой до мозга костей, студенткой вечно молодой Сорбонны, как ртуть живой, смешливой и дерзкой». В трех поэмах «Середины века» и в стихотворении «Платок Этьеннетты» живет эта женщина, подарившая ему на память красный платок...

Я буду целовать твои сухие,
Все в родинках, худеющие плечи.
Ты пахнешь вся дождем и жженым кофе,
И грустными нехитрыми духами.
...Внизу Париж белесый
Раздвинется, как шторы на рассвете,
И я увижу твой большой, тревожный,
Карминной кровью опаленный рот.
Из шкафа выну я свой лучший галстук
И завяжу его навстречу солнцу...

Однажды вместе они поехали на горнолыжную прогулку в Белькомб – маленькую деревушку в горах. Там буквально в нескольких метрах от них сошла снежная лавина. Они чуть не погибли, и предчувствие гибели долго не оставляло поэта... Этьеннетта была од-

ним из сильнейших увлечений Луговского, и это нашло отражение в поэме «Белькомб»:

Под сенью Богоматери белькомбской
Мы жили десять дней. В ее глазах
Больших, от старой меди зеленевших,
Росла тоска, темнея день за днем.
Там церковка была и ресторанчик,
И лавочки, где продавали вяло
Парижские открытки и бювары,
А наверху, как слон, стоял Монблан.

В железно-серых пасмурных ущельях
Катились ели черными зубцами,
Летели лыжники в цветных фуфайках,
И бегали подснежные ручьи.
Морозом пахло и чуть-чуть вербеной
От пролетающих американок,
Несущихся на первоклассных лыжах
К ущелью горному реки Арно.

Ты любила
Жизнь так легко, что с детским удивленьем
Не верила, что можешь умереть.
Ты целый год копила франк за франком,
Чтобы на десять дней слетать в Савойю
И насладиться в маленьком Белькомбе
Рекламным снегом, лыжами, весельем,
Той, для Парижа сказочной зимой
И жили мы в игрушечном отеле
С огромным телефонным аппаратом.

Ты верила, что есть на свете счастье,
Ты думала, что в мире есть покой.
А свет покоя льется из Белькомба
На сотни сотен неподвижных лет.
И ты не знала, девочка Парижа,
Что через восемь лет... Но нет, не стоит
Так забегать вперед. Дай руку мне.

Через восемь лет Этьеннетту расстреляют фашисты как участницу французского Сопротивления. А тогда, в Белькомбе, она верила в счастье на много-много лет...

Над миром тишина лежит, синяя,
Сверкая от луны, снегов, ручьев.
Амфитеатр звенящего простора
И одиночества. И нас вдвоем
Внесла случайность на ладонь природы.

«Белькомб», 1948

...Платок Этьеннетты поэт попросил зарыть под куст жасмина на его могиле. В 1960-е годы, когда устанавливали памятник на могиле Луговского на Новодевичьем кладбище, посадили куст жасмина. Сажали, отнюдь не вспомнив пожелание поэта, а лишь для того, чтобы для открытия замаскировать задник соседнего памятника. Пересаженный куст поник, поливки не помогали. Вот тогда-то и вспомнили про платок и пожелание поэта. Платок был доставлен и зарыт под куст жасмина, и наутро куст зацвел...

Любимая земля

У Луговского было много любимых земель, его поэтических вотчин: Средняя Азия, Север, побережье Каспия, Подмосковье и Москва, но самой любимой землей, пожалуй, навсегда оставался Крым. Он знал

каждый поворот крымских дорог, каждую ступеньку каменных лестниц в горы, каждый камушек его любимой Массандровской улицы. Это была страна его души. Здесь он любил слушать морской прибой, гулять по осенним паркам, встречать Новый год в горах.

Из воспоминаний Константина Паустовского: «В Ялте мы встретили с Луговским 1936 год. В доме устроили маленькую елку, и все мы два-три дня с увлечением занимались тем, что ее украшали <...>. Жена одного драматурга привезла из Москвы плюшевого медвежонка. Почему-то больше всех обрадовался этому медвежонку Луговской <...>. А наутро мы поехали в горы, видели бездонные пропасти, вызывающие сердцебиение, вдыхали острый, нежный воздух зарослей и камней, слушали звуки ночи.

Девочке медведя подарили.
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь с полночной душой.

Девочка с медведем говорила,
Отвела для гостя новый стул,
В десять спать с собою уложила,
А в одиннадцать весь дом заснул.

Но в двенадцать, видя свет фонарный,
Зверь пошел по лезвию луча,
Очень тихий, очень благодарный,
Ножками тупыми топоча.

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть,
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.

И тогда ему промолвил слово
Облетевший многодумный бук:
— Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?

— Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье.
Чатыр-Даг в снегу и облаках.

— Не ходи, тебя руками сшили
Из людских одежд людской иглой,
Медведей охотники убили,
Возвращайся, маленький, домой.

Кто твою хозяйку приголубит?
Мать встречает где-то Новый год,
Домработница танцует в клубе,
А отца — собака не найдет.

Ты лежи, медведь, лежи в постели,
Лапами не двигай до зари
И, щеки касаясь еле-еле,
Сказки медвежачьи говори.

Путь далек, а снег глубок и вязок,
Сны прижались к ставням и дверям,
Потому что без полночных сказок
Нет житья ни людям, ни зверям.

«Медведь», 1939

Стихи были нежные и грустные, как и стихи, посвященные кленовому листочку, написанные Луговским на коробке «Казбека»... Как мудрый и добрый Гулливер, он согревал своей душевной теплотой, как своим дыханьем, все живое. Он был добр. Он был расположен к простым людям и простодушным зверям. Из этой доброты и желания счастливых дней, счастливых месяцев и целых счастливых столетий, из желания, чтобы истинное счастье навсегда поселилось на нашей земле, и родилась его поэзия <...>. Весь мир со всеми его чудесами, с его величием, красотой, событиями, его борьбой, скорбью, с его замечательными стихами и цветением всегда небывалых весен, с его любовью и благоуханием девичества – весь мир носил в себе этот неисчерпаемый, милый, душевный человек, простой, свободный, украшавший собою жизнь людей и ненавидевший ложную мудрость и злобу».

Потрясение

В 1941 году поезд, в котором поэт ехал на Северо-Западный фронт, попал под бомбежку. Всюду дымилась развороченная земля и были разбросаны останки людей, человеческое мясо. Мир вывернуло наизнанку. Но Луговской уцелел. Его даже не ранило... Раны на теле не было, только душа изуродовалась и запахла человеком, в котором жила. В один миг рухнул его образ мира, созданного для счастья человека, человека красивого, гордого, смелого. Позже поэт напишет: «Несмотря на ошибки, а они были и в моей жизни, и в творчестве, я с самых ранних своих стихов стремился сказать, что жизнь на земле создана для счастья, а не для бессмысленной гибели...». В Москву вернулся морально сломанный человек, с дрожащими руками, плохо говорящий, волочивший ногу. Но болезнь физическая была не сравнима со степенью его морального потрясения.

Его ученики не простили ему крушения мифа гордого, смелого человека, отчаянного воина, не поняли его трагедии... Драматизм произошедшего состоял еще и в том, что это была не только его личная трагедия, это была трагедия целого поколения, воспитанного на железном убеждении в непоколебимости советских летчиков, полярников, военных – людей со стальными нервами. У них не могло быть ничего личного, они были символами своей эпохи. И никому не приходило в голову, что потрясенному, потерявшему ориентиры человеку можно и нужно протянуть руку помощи...

Довоенная жизнь внезапно кончилась. Само напоминание о ней вызывало острую боль. Как пишет в своих воспоминаниях Татьяна Луговская, «Ташкент в начале всеми был воспринят как город для гибели... В городе, где собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где гроб – один из самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутились мы...».

Середина века

В эвакуации в Ташкенте Луговской начнет создавать одну из самых лучших поэтических книг за всю историю русской поэзии – «Середина века». Работу над этой книгой поэт начал в 1943 году, а закончил

в 1956-м. О характере книги, о ее построении автор писал: «Вся книга, начиная с самых детских времен, сделана по принципу «цепи». Цепь эта переэвганивает, иногда переэвганивают образы, иногда одна и та же строка, иногда одно и то же действующее лицо или потомок того лица, которое действовало раньше». Поэт распадается на сотни лирических «я», из которых постепенно вырастает эпическое единство «автобиографии века», пережитой рядовым участником великих событий столетия. Не случайно эпитафией к книге поэт взял слова Гоголя: «Все вдруг стало видимо далеко во все концы света». Идут времена, а море шумит, как шумело оно в те давние, но не забытые дни, когда «человек плыл с Одиссеем»:

Я очень бесприютный человек,
Я знаю все противоречья века,
Несущего в конце концов победу,
Победу человеческих стремлений
К единственно достойной мудрой жизни,
Я знаю песни древние, как память,
О пене, о свободе, о морях.
«Как человек плыл с Одиссеем»

Эта книга – дело всей жизни Владимира Луговского, его поэтический дневник. Холодная, бесчувственная, зомбированная предвоенная Германия, где «...прямые линии и протестантский холод / Углы гранита. Пустота. Тоска / Треск барабанов, флейты и знамена / Шаги пехоты, черепа и кости; страшный советский тридцать седьмой год, в который «все кем-то преданы», потеря близких, предвоенный великий город Лондон, где «спокойные, как вечность, анфилады / Гранитных зал, где миллион предметов / Напоминает о миллионах лет», мирное предвоенное время, «...а в комнате теплень / Ковер вишневый / Смятая подушка / И три пятна на стареньком паркете / Там, где стоял увезенный рояль / Из шкафа все еще дышали медом / Исчезнувшие так недавно платья / И парусные корабли на шторах / Легко неслись неведомо куда... И все это рождает у поэта яростный протест против насилия над Жизнью, насилия над всем живым и мирным:

Она стояла розовым туманом,
Летело в спину бешеное солнце,
Просвечивая жадно все насквозь –
Пушинки кожи, голубые жилки,
Кипящую огнем волну волос.
Сверкало солнце возле тонких рук,
Столбом стояло у янтарных бедер,
Охватывало крепкие колени,
Округлое на тонком зноем шеи,
Горячее на розовых ушах.

Закинув руки, девушка тянулась,
Потягивалась, будто вырастая,
И скручивала узел на затылке,
Спокойная в своем великолепии,
Лебяжьим холодом светло горя.
Победа наша, наше многолетье,
Бессмертная в начальной простоте
Природы женской, девочка России...

«Москва. Бомбардировочные ночи»

Работая над этой книгой, поэт поднимет одну из важных проблем поэзии – проблему белого стиха. Говоря о значимости белого стиха, в своих воспоминаниях Луговской напишет: «Забыто то, что целые на-

роды писали свободным стихом, без рифмы, что вся римская поэзия не знала рифмы. А Китай? А Япония? А почему? Потому что в белом стихе нужно такое звучание давать в середине строки, которое можно не давать, если имеешь звонкую рифмочку. И когда слышишь чеканный латинский стих, не опертый ни на какую рифму, он звенит, ощутим на вкус, на цвет, на звон!».

Забвение... или бессмертие?

Когда открываю томик стихов Владимира Луговского, припадаю к нему, как к живому роднику. А он не вмещается в этот томик, он вне, он шире, он – всюду! От его стихов пахнет ветром, весной, они порой леденят, как льдинка на языке, порой согревают, как пряный азиатский напиток или чашка только что смолотого кофе...

Поэт-романтик и человек изломанной судьбы. Бравый военный, овеванный вихрем революции, чьи фотографии, как фотографии Чкалова, висели над кроватью всех девчонок Москвы – и униженный обитатель Алайского рынка в Ташкенте, сломленный, просящий милостыню, чтобы не умереть с голода. И вновь поднявшийся во весь рост и с неистребимой яростью бросивший на небосклон поэзии жемчужную россыпь своих стихов!..

Представитель старой русской интеллигенции, вобравшей в себя историческое и культурное достояние России. Человек, чья биография, чье мировосприятие настойчиво вопиют против насилия над человеком.

Мастер, мэтр, чьи даже прозаические строки пели, звенели как подлинная поэзия.

Вправе ли мы судить?.. Верно пишет Захар Прилепин: «Как поэт – в небывалых своих удачах – Луговской огромен, выше жизни, дальше смерти, наэлектризованный эпохой, неоспоримый, не вмещающийся в свою поломанную биографию».

В своей последней книге «Синяя весна» проникновенным стихом поэт говорит о минувшем, которое нельзя забывать, которое отзывается болью в сердце. «Пусть это будут простые вещи, но только вещи, положенные на могучую историю нашей страны. Мы безмерно богаты, берите из этой сокровищницы, ее хватит до окончания веков».

Выходи на балкон. Слышишь – гуси летят!
– Как тогда? – Как тогда! Время к старости, брат.
– Нет, я в старость не верю, на крыльях держись!
Верю в жизнь, верю в смерть
и опять снова в жизнь..

Слышишь – варево жизни кипит, как в котле, –
Это корни ворочаются в земле,
Это травы ползут, это почки шуршат,
Это юность весны потревожила сад.

– Как тогда? – Как тогда, много весен назад...
Море бьет, и огромный колышется сад,
И весна развернула свой юный наряд.
Слышишь – гуси летят? Слышишь – гуси летят...

Луговской умер на взлете, прожив недолгую, но яркую жизнь. Сердце поэта, по его завещанию, покоится в скале, в старинном парке, в его любимой Ялте. Вечные и вешние строки поэзии Луговского останутся с нами навсегда.

Вновь процитирую Захара Прилепина: «Перед нами – верный, не сдавший ни одной позиции ребенок Октября, прожженный, неоспоримый «левак» и к тому же империалист, неоднократно воспевший советское, красноармейское собирание земель, а еще русофил, у него даже падающий снег – великорусский... Бровеносец, красавец, умница, романтик, великий русский поэт».

А сам Луговской, в свое время говоря о поэзии Павла Антокольского, своего многолетнего друга, написал так: «В его творчестве звучит оптимистическая, жизнеутверждающая фанфара юности... Он весь в движении вперед, в любовании молодостью людей и молодостью мира».

Мне думается, что эти слова как нельзя лучше подходят к самому Владимиру Луговскому.

Использованы источники:

Быкова Е. Платок Этьенетты / Е. Быкова, М. Ногтева // Юность. – 1981. – № 7. – С. 88 – 90.

Из записных книжек Владимира Луговского // Москва. – 1965. – № 12. – С. 209 – 2014.

Луговская М. Рыцарь поэзии / М. Луговская, А. Големба // Огонек. – 1976. – № 27. – С. 21.

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники. – М.: Аграф, 2001.

Луговской В. Автобиография // В. Луговской. Раздумья о поэзии. – М.: Советский писатель, 1960. – С. 9 – 28.

Павлов Н. «О времени, о том неповторимом...». К 80-летию Владимира Луговского // Звезда. – 1981. – №7. – С. 158 – 161.

Паустовский К.Г. Горсть Крымской земли // К. Паустовский. Сказки, очерки, литературные портреты. – Минск, 1986. – С. 480 – 481.





РЕКА ВОСПОМИНАНИЙ

Александр ОСИПОВ родился в селе Барышская Слобода Сурского района Куйбышевской (ныне Ульяновской) области. Автор стихотворных сборников «Далекая страна», «На русских улицах», «Кто любит, поймет», «И опять вяжу я строчки», книги прозы «Спасибо, сердце». Член Союза писателей России. Живет в Димитровграде.

МОЯ СЛОБОДА

*Слобода ты, Слобода,
где ты поселенная:
кругом лес, кругом вода
и луга зеленые...*

(частушка, услышанная в детстве)



Это лишь вспышки моей памяти, охватывающие период с 1940 по 1959 годы, не претендующие на краеведческие изыскания или историю села. Памяти уроженца села Барышская Слобода и прожившего там всего только 14 лет. Дом наш, в котором я родился в 1937 году, стоял в самом начале улицы, называемой в народе «Линией». Она имела один порядок домов, «глядевших окнами на реку Сура и красоты Засурья. Прямо против наших окон, за Сурой на реке Барыш, находилась мельница – лучшая во всей округе. По рассказам моей бабушки – Ярыгиной Анны Ивановны (1892 года рождения), мельница некогда принадлежала графу Рибопьеру, которого она никогда не видела и мельнице, по ее словам, было лет 90. А если учесть, что после ее рассказа прошло лет 65–70, то получается, что этой мельнице, стены которой стоят до сих пор, лет 150–160. Но это лишь ее рассказы. Рядом с мельницей, которая имела 3,5 этажа, включая технический полужэтаж, располагался лесопильный завод и гидроэлектростанция мощностью 210 кВт. Мельничные механизмы приводились в движение водяным колесом, а в мое время локомотивом, дизелем и электродвигателем (последовательно). Совершенно точно, что наше большое село было электрифицировано еще до войны. В этом революционном, в техническом отношении, деле принимал непосредственное участие мой отец – Осипов Степан Иванович, работавший электромонтером Бар. Слободской ГЭС до сентября 1939 года (до призыва в ряды РККА).



Река Сура была судоходна от Васильсурска (место впадения в Волгу) до села Кадышева, что находится километрах в двадцати выше райцентра Сурское. В период навигации по Суре ходили «моторки» (небольшие суда). В половодье, когда Сура выходила из берегов, сюда заходил волжский, похожий на огромную черепаху, колесный грузовой пароход «Совет» и мы, пацаны, сбегались смотреть на этого монстра... на Суре стояли бакены – красные и белые, вешки, а по берегам створы. Впоследствии, после войны, было учреждено Управление малых рек («УМРек»). Середина села, где я родился, не называлась никак. Если же встать отсюда лицом к Суре, то левая часть села называлась Конец. Начинался он от Белой церкви (ныне не существующей) или от оврага Кокуя и заканчивался чуть ли ни у деревеньки Засарье. Внизу (к пойме Суры) располагалось Подвалье и далее Подсурье. Правая часть села, от ныне не существующей Красной церкви и бывшей участковой больницы (именно) верх, назывался Курмыш, который плавно переходил в Комаровку (или Кусаковку по-старому). Границей этих «микрорайонов» условно считался огромный овраг, на краю которого в старинном 2-этажном особняке располагалась аптека. Крайний дом Комаровки (дом Утовых) почти упирался в начало деревеньки Полянки.

Комаровские парни и девушки частенько ходили туда «матаниться». Это было ближе, наверное, нашего сельского клуба, располагавшегося в центре села – напротив сельсовета (2-этажного каменного особняка Гусева, сосланного в края не столь отдаленные). Примечательно, что мои земляки некрасиво окали, а Полянские красиво акали.

«Милый мой Полянский – галасок дворянский» (слышал от моей мамы).

Запомнились улицы: Большая или просто Улица, Нижняя улица (к Суре). Переулки: Барский, Поганный, Мертвый, других не помню. До войны улицы имели официальные названия, а строения номера. Село имело наружное и внутридомовое электрическое освещение. Однако в войну все это нарушилось. Улицы села погрузились во тьму, а в домах использовались керосиновые лампы: 5 линейные у бедных, 7 линейные у «средних», 12-линейные у «богатых» и в учреждениях. Наша улица до войны имела официальное название – Максима Горького, а наш небольшой, но

длинный домик (на 2 окна на улицу) имел номер первый. Как я уже говорил, улица моего детства и отрочества в народе называлась Линией. Не знаю, кто и когда из неумных людей окрестил ее собачьей норой, но это возмущало нас, пацанов, до драки... Но не только наша улица пострадала – другим тоже досталось. Чего, например, стоит уничижительное прозвище «Поганный переулок» или «Неволевка». Не очень приятно, но факт: мои земляки были большими мастерами давать прозвища не только улицам, но и людям... Отчасти, я так думаю, прозвища помогали сразу понять, о ком идет речь, например, в нашем селе было два Валентина Васильевича Воронкова, несколько Викторов Алексеевичей Шеяновых и т.д.

В раннем детстве моими неформальными «наставниками» (кроме мамы и бабушки) были братья Шеяновы Алексей и Анатолий, жившие рядом с нами в Барском переулке. Жили они в добротном доме под железной 2-скатной пологой крышей, над которой просились в рот черные, переспелые, сладкие ягоды черемухи. Во дворе жила собачка Жучка, которая ежегодно рожала несколько кутят, которых я гладил по крутым лбам...

Алексея и Анатолия я считал своими друзьями, хотя они были старше меня на 8–9 лет. Проклятая война накрыла черным крылом и их: погиб их отец и старший брат Женя (1923 г.р.), который катал меня четырехлетнего на велосипеде.

Алексей Николаевич Шеянов долгое время работал командиром землесоса на Суре, обеспечивая судоходство, а потом зампредом колхоза «Заветы Ильича» по хозяйству. Примечательно, что сын его Евгений Алексеевич Шеянов так же остался верным своему селу и работает администратором села до сих пор.

Анатолий Николаевич Шеянов, участник корейской войны в 1950 году, служил авиамехаником и через некоторое время после демобилизации получил медаль «За боевые заслуги». Он тоже остался верным родному селу и долгое время был одним из лучших трактористов села. Трагически погиб в еще не старом возрасте.

Необычность нашего села заключалась в том, что располагалось оно в красивейшем месте у слияния рек Суры и Барыша, изобиловавших рыбой. Сурская стерлядь (по слухам) в старое время поставлялась к царскому столу. За Сурой, против нашего села было

безлесное пространство, называемое костылек. На этом костыльке располагалось великолепное озеро Дуга, богатое линиями. Далее еще три озера: Конопляное, Бобошное и Боконя. Все они были рыбными: лещи, караси, щуки, язи, окуни, ерши, верховодки и т.д. В лесах – малые безымянные озера, кишашие золотыми, величиной в ладоть, карасями.

За Сурой леса ГЛФ (государственного лесного фонда), значительно прореженные при строительстве Ульяновского авиакомплекса, а до революции так называемые удельные лесные дачи, принадлежащие царской фамилии. Далее был великолепный бор, где на излучине Барыша стояла каменная часовенка («святое местечко»). Я застал только камешки от него... В лесах водились лоси, кабаны, волки, лисы, зайцы. На озерах утки, чирки, кулики и чайки. Было море грибов и ягод. Даже в мое время признавали только белые, называемые дорогими, и грузди. Это Засурье.

А за селом (с обратной стороны) – необъятные черноземы: Кислый овраг, Пчелейка, Кочкари, Десятины, дубрава, состоящая из лип, кленов, ясеня и орешника. В дубраве, в 4 километрах от села, находилась колхозная пасека. Обслуживали ее всего три человека: заведующий – Степан Иванович Самочков, его помощница Анна Васильевна Ярыгина (молодая тогда девушка – моя тетя) и сторож – Василий Владимирович Осипов, уже пожилой инвалид, родной брат моего дедушки Ивана Владимировича, погибшего в 1914 году в Первую мировую войну... Во время качки меда тетя приглашала меня с друзьями и мы, прихватив куски хлеба, наедались до отвала свежим душистым медом.

Когда же Степан Иванович отсутствовал, тетя водила нас по пасеке и показывала омшаник – большую избу, где хранился инвентарь: центрифуги для качки меда, дымари, защитные сетки, рамки для ульев и т.д. На стене висели красочные плакаты по пчеловодству и старое ружье «Винчестер». Пахло воском, медом, травами, цветами, и от этого райского аромата приятно кружилась голова. У входа на пасеку под живописным орешником было выложено из камней кострище. Над костром висел небольшой котел, в котором булькал кипяток, заправленный молодыми ветками черной смородины: чай моего детства на пасеке и сенокосах...

Когда я закрываю глаза, мне видится мое родное село Барышская Слобода того времени, красивее которого я не видел нигде и никогда и которого, к великому сожалению, теперь не существует. Увы, этот прискорбный факт, как ни горько, надо признать. Хотя старые люди говорили мне, что Слобода моего детства была уже не та, что раньше: именно изменилась в худшую сторону. Но ведь не до такой же степени, как сейчас в новейшее время. И в самом деле, доминантой села являлись два главных храма: Белая церковь на Кокуе и Красная церковь в версте от нее рядом с участковой больницей. Белая церковь, как

мне говорила мама, была закрыта на другой день после моего крещения в ней, в начале марта 1937 года. В этот день батюшку, который успел окрестить меня, отвезли на телеге под конвоем на ж/д станцию Вешкайма. И все же (в мое время) оба храма стояли, хотя использовались в качестве складов колхоза «Заветы Ильича», организованного в 1930 году. Не вдаваясь в политику, полагаю, что в то время село все же более или менее сохранялось благодаря колхозу. Хотя я хорошо помню нелестные отзывы о нем пожилых людей, заставших старое, доколхозное время. И хотя сейчас это не модно, хочу сказать кое-что в защиту этого образования.

Колхоз «Заветы Ильича» имел пять бригад. Мы и весь наш околоток относились ко второй бригаде. Что же такое колхозная бригада? Расскажу на примере нашей второй бригады (в общих чертах, конечно).

Бригадный дом находился в большом пятистенном деревянном доме, некогда принадлежавшем (по словам мамы) Шестаковым. Куда делись Шестаковы, говорить было не принято. Территория бригады была большая и, кроме этого дома, большую часть ее занимала огромная деревянная конюшня для лошадей. Лошадей, полагаю, был не один десяток. Наверное, поэтому нашу бригаду называли еще «конный двор». Каждая лошадь в конюшне имела отдельное стойло. Стойла располагались в два ряда, посередине был широкий проход со сточными канавами. Изнутри стойла закрывались деревянной перекладиной. Лошади стояли задом к проходу, мордой к окну, которое имело железные решетки. Эта огромная конюшня имела сеновал под 2-скатной крышей. Сеновал имел запас сена и соломы на зиму и был местом наших детских игр. Конюшня имела два входа и выхода, которые закрывались тяжелыми воротами, и до войны имела электрическое освещение.

Кроме конюшни, имелся большой амбар для всевозможных хозяйственных целей. Около него под открытым небом хранились зимние сани-дровни, телеги, роспуски, повозки-«ящики», конные косилки, грабли, запасные оси, колеса, оглобли, полоза, дуги и т.д. Все это стоило немалых денег, которые вложила в это советская власть, хотя на лошадей не тратилась... В бригадном доме хранилась упряжь.

Колхоз имел молочно-товарную ферму (МТФ), мастерские, кузницу и пожарное депо. Было немало стадо колхозного крупного рогатого скота, овцеферма, свиноферма, птицеферма, две колхозные пасеки. Кроме необъятных полей, засеваемых пшеницей, рожью, овсом, просом, люцерной, викой-смесью, подсолнечником, картофелем, имелся огромный колхозный огород. Он располагался на Лыве, около Суры, которая в половодье заливалась водой. Когда вода сходила, оставался плодородный слой ила. На этом огороде выращивались капуста, огурцы, поми-



Трактористы с. Барышская Слобода. Колхоз «Заветы Ильича». Конец 1950-х.

доры, свекла, морковь, лук, чеснок и т.д. Руководила бригадой огородниц Прасковья Васильевна Шеянова – энергичная, деловая, потерявшая в войну мужа и сына...

Я не знаю, принадлежала ли колхозу мельница, которая молола зерно со всей округи, включая даже и мордовские селения. Но мельник Губин был членом партии, и я часто видел его в правлении колхоза и сельсовете. С одним из его детей учился в одном классе.

В селе были радиоузел и почта, располагавшиеся на большой улице против здания правления колхоза.

Была в селе и участковая больница. Работал медперсонал: врач, фельдшер, медсестры. Имелся стационар.

В селе был Затон. Эта организация к колхозу отношения не имела. Она была в ведении УМРек.

Были две школы: школа-семилетка (НСШ) около Белой церкви у оврага Кокуй и начальная, четырехклассная у Красной церкви.

Но пора уже подробнее сказать о людях нашего села, которые запомнились мне из того далекого времени и которых не баловали наградами и почестями...

Родители мои из народа или, как теперь модно говорить, обычные люди. Мама – Осипова Антонина Васильевна, в девичестве Ярыгина, родилась в 1914 году. В десять лет лишилась отца, была в семье (шесть детей) старшей. В девять лет она уже жала серпом рожь и пшеницу на своем наделе и батрачила на богатых соседей. В школе не училась и только при советах окончила курсы «ликбеза». За зиму научилась читать по слогам, писать с ошибками и считать, т.е. складывать и вычитать. От природы была очень сообразительной, но всю жизнь работала в колхозе разнорабочей, а затем около двадцати лет поваром в тракторной бригаде. В 1961 году получила тяжелое увечье (позвоночник), стала инвалидом без инвалидности на колхозной работе при разгрузке силоса. В 1963 – 1964 годах переехала из Б. Слободы в село Коромысловка Кузоватовского района по месту жительства дочери. Умерла на 90-м году.

Отец – Осипов Степан Иванович, 1914 года рождения. Сирота, не видевший своего отца (моего деда), погибшего в Первой мировой войне в том же 1914 году. В семье было пять человек. Папа едва закончил три класса, больше не мог – нужно было работать. Работал в колхозе, потом выучился на электромонтера, работал на Б. Слободской ГЭС, проводил электрификацию села. В 1939 году был призван в РККА, а осенью 1941 года погиб, выходя из окружения. Защитник г. Смоленска в 1941 году.

Моя первая учительница – Ирина Александровна Беренко, которая учила меня с 1-го по 4-й класс. Четвертый класс был выпускным, и мы сдавали экзамены. Ирина Александровна была необыкновенно красива лицом, невысокого роста. Одевалась она как куколка

во все заграничное, шикарное и утонченное. Такой одежды ни у кого не было. Не было таких часиков, туфелек, портфеля. Она приехала к нам из г. Харбина (Китай) с двумя малолетними детьми, старший из которых Юра учился со мной в одном классе. Позднее я узнал, что муж ее был репрессирован по делу КВЖД. В 1944 году, когда я пришел в первый класс, ей было 28 лет. Ирина Александровна очень хорошо относилась ко мне. К великому сожалению, она очень рано ушла из жизни, кажется, в 45–47 лет.

С пятого по седьмой класс моими учителями были Лехин Николай Васильевич – директор школы, преподавал историю;

Новикова Мария Ивановна (русский язык и литература), Волкова Таисия Алексеевна (математика), Сергеев Михаил Ефимович (физика), Зоя Степановна (география), Наталья Спиридоновна (немецкий язык), Надежда Калябина (ботаника). Преподаватели физкультуры и военной подготовки менялись. Запомнились Шпенев Александр Иванович, участник Сталинградского сражения, лейтенант; Юрий Иванович Баранов, главстаршина Северного флота; Участкин Валентин Иванович – старший лейтенант, пограничник дальневосточных рубежей.

Мария Ивановна Новикова году в 1949 – 1950-м была награждена орденом Ленина. Таким же орденом был награжден и Николай Васильевич Лехин. Все мои учителя заслуживают, по крайней мере, отдельного очерка. Знания, полученные мною трудами этих дорогих для меня людей, позволили мне поступить в Ульяновский механический техникум (лучший в Ульяновской области) в 1951 году. После этого я навсегда покинул Бар. Слободу, но связи с ней не прерывал, приезжая на каникулы и в отпуск.

...Практически всю войну колхозом руководил Константин Петрович Волхонин. Был период, когда он попадал в опалу и председатели менялись. Позднее (во время моей учебы в техникуме) колхоз возглавил опытный руководитель и замечательный человек, бывший директор Сурской МТС Василий Павлович Павлов. Полагаю, что это был достойный профессионал, немало сделавший для укрепления колхоза. В то время колхозникам разрешалось иметь до сорока соток личного сада, корову, бычка или телочку «полуторников», теленка, поросенка, овец, кур, гусей. Это личное подсобное хозяйство облагалось немалым налогом, как денежным, так и натуральным, но все же позволяло колхознику выжить за счет ежесуточной, 2-сменной работы. В колхозе зарабатывали трудодни, которые оплачивались весьма скупо натурой. Устанавливался минимум трудодней, который обязан был выполнить колхозник. За невыполнение его можно было попасть под суд. Я хорошо помню, когда мама за год работы в колхозе заработала три мешка: мешок пшеницы, мешок ржи и мешок семечек. Позд-



*Большеслободская школа. 1948 – 1949 гг.
Верхний ряд, четвертый слева Александр Осипов*

нее колхозников перевели на денежную оплату. Для рядового колхозника (не механизатора, не специалиста) она была крайне низкой, примерно в 8–10 раз ниже, чем в промышленности. Такая же пропорция соблюдалась в то время и в пенсионном обеспечении. В среднем пенсия рядового колхозника составляла тогда 12 рублей в месяц, а вне колхоза от 40 до 120 рублей в месяц.

Тяжелый ручной труд и низкая зарплата были одной из причин развала колхозов. Люди «всеми правдами и неправдами» покидали село... И все же, все же... Считаю, что колхозы в тот труднейший исторический этап сыграли положительную роль. Я почти уверен, что если бы не чудовищная обираловка колхозников, нам бы не выиграть войны, не восстановить половину разрушенной страны, не восполнить 30-миллионных людских потерь.

В мое время «очагом культуры села», как выражались в то время бойкие агитаторы, был клуб или «народный дом» (как называла его моя бабушка). Построен он был явно до моего рождения и представлял из себя большое деревянное здание, имевшее танцевальный зал, сцену, гримерку, запасные аварийные выходы и высокое крыльцо. Словом, это было типовое здание, построенное советской властью. Клуб находился напротив сельсовета. В нем демонстрировались кинофильмы, работал драмкружок. Рядом располагалось двухэтажное здание избы-читальни, в которой имелась библиотека и читальный зал с журналами на огромном столе, шахматами и шашками.

Одна из улочек Слободы, которая располагалась параллельно Барскому переулку в сторону оврага Кокуя, называлась Заглядовка. На ней было несколько домов, но в нижнем конце ее располагалась ветлечебница, бойня для скота (на краю оврага), «станок» для ковки лошадей. Ветлечебница была огорожена деревянной изгородью. Улочка существует по сей день, обустроенная типовыми блочными домами. От ветлечебницы не осталось и следа... В овраге Кокуй я еще застал в раннем детстве остатки кирпичных сараев, в



которых некогда обжигали кирпичи, как говорили, неплохого качества.

В то благословенное время вся Слобода утопала в яблоневых, грушевых и вишневых садах. Старые ранетки своими кронами перекрывали узкие переулки, образуя красивые, уютные коридоры. К великому сожалению от этого благолепия в современной Слободе не осталось и следа. В суровую военную зиму черного

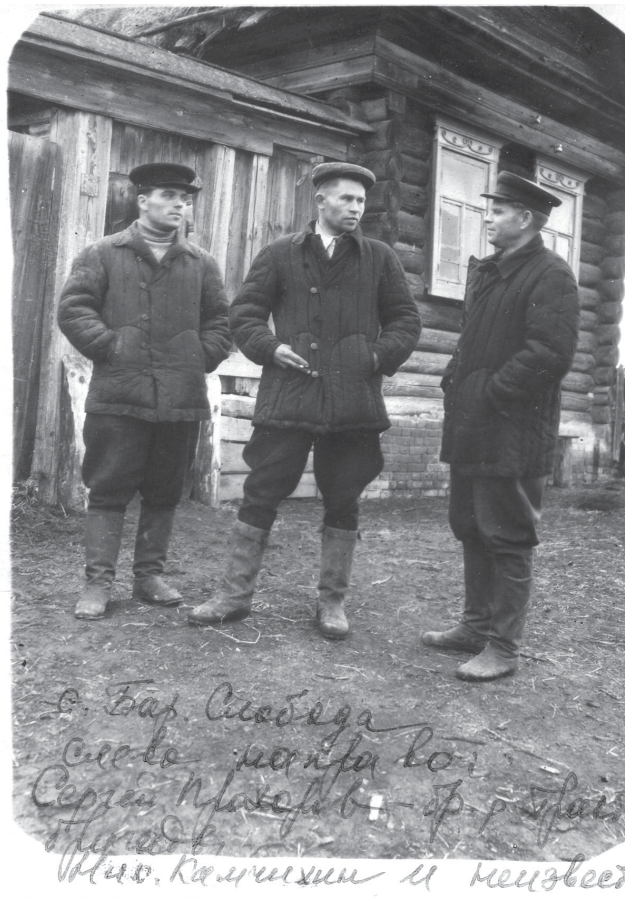
1941 года сады Слободы вымерзли, мужское население было мобилизовано на войну, а яблоневые сады в зиму 1942 года спилены на дрова.

В Барышско Слободской участковой больнице в войну и, видимо, до войны главврачом был Буреев, которого по малости лет в ту пору едва помню. После войны продолжительное время главврачом работал Константин Казимирович Монкевич, кажется, подполковник медслужбы, который пользовался в народе большим уважением. Впоследствии Монкевич переехал в р.п. Сурское. В школе я учился в одном классе с его дочерью Генриеттой и даже иногда сидел с ней за одной партой. Геночка Монкевич, как мы ее называли, была отличницей, недурна собой, прекрасно одевалась, имела трофейный дамский велосипед, привезенный папой из Германии. Несмотря на весь этот «аристократизм» девочка не задавалась. Вела себя просто, но с достоинством, и даже один раз дала мне прокатиться на своем велосипеде.

Позднее, в начале 60-х, больницу возглавлял опытный врач Майоров, очень достойный, грамотный и душевный человек, лечивший мою маму от тяжелой травмы позвоночника. Из среднего медперсонала я больше других запомнил замечательную, красивую женщину – Веру Александровну Филянину-Жаркову.

Запомнились мне бригады тракторных бригад, обрабатывающих необъятные барслободские черноземы: дядя Митя Епифонов (в войну), Михаил Федорович Логинов, Петр Вольнов, Константин Фильченков,

Сергей Яковлевич Прохоров. Запомнились и лучшие трактористы разных времен: Иван Забродин, Николай Маслов, Николай Лапшин, Виктор Алексеич



с. Бар. Слобода
Слева направо
Сергей Яковлевич Прохоров - фр. партизан
Михаил Казимирович Монкевич и неизвестный

Шеянов – фронтовик, кавалер ордена Ленина за доблестный труд, Николай Ларионов, Николай Алексеевич Шеянов, Анатолий Николаевич Шеянов, Николай Камчихин, Александр Батраков, Виктор Осипов, а также братья Ярыгины, Алексей и Василий, работавшие в войну. Были и молодые девушки-трактористки, но моя память сохранила имена только двух из них: Марию Жирнову из Болтаевки и Анну Короткову, кажется, из Студенца.

Мои земляки-слободчане с давних пор известны как «волгари», т.е. работники водного транспорта: капитаны, механики, шкиперы (в старину – водоливы), матросы. Ходили они по Волге, Каме, Белой, Оке, Суре и даже по реке Сунгари в Китае. Уезжали в поисках лучшей доли на «великие стройки коммунизма», вербовались на Дальний Восток и Калининградскую область. Строили заводы в г. Горьком, Куйбышеве, Сталинграде, Саратове, Чебоксарах и Казани, в Башкирии и на Урале. Работали на КВЖД, подвергались репрессиям и получали ордена.

Защищали нашу Родину и погибали в самую кровопролитную из всех войн... 530 слободчан не вернулись с фронта.

Слава им и вечная память!

СЕЛО БАРЫШСКАЯ СЛОБОДА

Есть все в блаженном том краю:
Лес корабельный, черноземы,
Сады не хуже, чем в раю,
Сурская стерлядь, линь озерный.
Там две реки текут века –
Сура-река, Барыш-река.
И на слиянье этих рек
Жил пять столетий человек.
Был хлеб в почете и вода
Опорой для души и тела,
Свой жернов мельничный вертела
На всю округу Слобода.
И вот стараньями вождей
Села не стало. И людей.

Выписки из архивных документов

Выписка из сборника документов 1905 – 1907 гг., касающихся с. Барышская Слобода, выявленных в фондах, хранящихся в центральных исторических архивах Москвы, Ленинграда, Гос. архиве Ульяновской области:

«Крестьянское движение в Симбирской губернии в период революции 1905 – 1907 гг.»

Документы и материалы.

Издательство «Ульяновская правда», 1955 г.

№75

с. 115. Телеграмма алатырского уездного исправника симбирскому губернатору о митинге в с. Барышская Слобода и противоправительственных выступлениях крестьян Алатырского, Ардатовского, Курмышского уездов.

«Простав донес, что 9 июля в с. Барышская Слобода после волостного схода устроился митинг, на который явились лица разных сел – Алатыря, Ардатова, Курмышья, было до тысячи человек, обсуждались действия правительства и как громить имения. Устроен комитет, писались бумаги, публикации среди жителей. Десятого ольховские явились в хутор Рибопьера и стали снимать рабочих с заменой своими, но были удалены ротою солдат. Выезжал в с. Промзино».

Исправник: Неофитов.

Верно: правитель канцелярии Романов.

Сверял: помощник правителя Хвостов.

№76

с. 116. Из рапорта алатырского уездного исправника симбирскому губернатору о противоправительственном решении крестьян на митинге в с. Барышская Слобода, Алатырского уезда.

13 июля 1906 г.

«В дополнение к телеграмме от 12 сего июля имею честь донести вашему сиятельству, что на бывшем в с. Барышская Слобода 9 июля после волостного схода митинге председательствовал сельский староста этого села Петр Петров Сенаторов, на котором была выработана следующая резолюция: 1) хлеб помещиков свезти и сложить в общий амбар; 2) Старшин, старост и писарей, если они принадлежат к разряду черносотенцев, бойкотировать; 3) стражников полицейской стражи исключить из состава общества; 4) податей не платить; 5) солдат не давать...».

Уездный исправник (подписал) Неофитов.

№77

с. 116. Телеграмма управляющего губернией алатырскому уездному исправнику о принятии решительных мер против выступлений крестьян в Барышской Слободе

17 июля 1906 г.

«Распорядитесь немедленно произвести подробное дознание в с. Барышская Слобода. Если подтвердится, то следует руководителей арестовать. Делу дать движение».

Управляющий губернией Арцыбашев.

Верно: правитель канцелярии Романов.

Сверял: помощник правителя Талантов.



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Андрей АНТИПИН, член Союза писателей России, лауреат Гончаровской премии (г. Иркутск)

«ВЫ ЭТОЙ ТОСКИ НЕ ПОЙМЕТЕ...»



Вадим Ярцев (1967 – 2012)

Непросто было разглядеть Вадима за наволочью, которая обложила его стихи в городской печати. Никто по-настоящему и не разглядел, а сама наволочь даже не всколыхнулась в июне двенадцатого, когда Вадим умер, и скорее затекла в образовавшуюся после его ухода ямку.

Только друзья, пока он еще был жив, успели – скинулись на книжечку да устроили подборки – сначала в питерском «Русском писателе» и только потом (как видится) дома – в иркутской «Сибири».

Все остальное – второй сборник с претенциозным названием «Марш славянки», большая и неровная публикация в «Нашем современнике», шоковое и вместе восторженное восприятие Ярцева теми, кто впервые открывал для себя его трудную лирику, – катилось своим чередом. Но уже без Вадима.

Сознаюсь, я тоже не увидел и не услышал, хотя он, как говорится, жил на этой же планете и даже в городе одном. И только когда отлепило мертвые водоросли, всю эту слизь и тину, оплетшую имя Вадима при его жизни по праву измышленного родства, но отброшенную на камни, едва подул чем-то горьким, однако же и справедливым, – наконец проблеснула чистая вода и стали видны донные камушки. Это были стихи.

Их, реденько вкрапленные в выпуски районной газеты, где отчеты о литературных заседаниях, старательно забалтывало косноязычье стихотворцев, вероятно, воспринимавших Вадима Ярцева как явление одного с ними порядка.

Заболтать, переговорить, сделать неслышным и невидным они смогли. Пока сам поэт, чудесно продолжившись на этой земле своими правдивыми стихами, не стал чем-то таким, чему не страшно даже молчание.

...О Вадиме известно сравнительно немного.

Родился в 1967-м под Новосибирском. С пяти лет жил в Усть-Куте – портовом городке на севере Иркутской области.

Рано научился грамоте. В три года читал наизусть огромными кусками.

Увлекался фотографированием, музыкой. Коллекционировал грампластинки.

Играл в шахматы.

Участвовал в дискуссионных клубах. Но при этом был замкнут и добр.

Любил Высоцкого, Рождественского, Самойлова...

Окончив школу, поступил на исторический факультет Новосибирского государственного университета.

Со второго курса забрали в армию. Служил в Сызрани.

На гражданке – а это были перестроечные годы – сменил множество профессий. Работал грузчиком, диспетчером, начальником смены, мастером по отгрузке леса, сторожем...

И все эти годы писал стихи.

С публикациями долгое время не получалось: советская поэзия Вадима Ярцева оказалась невостребованной в новой России.

Но сломало не это.

В 2001 году после смерти матери, которую Вадим очень любил, меняется его жизнь.

Наступили дни, когда не было возможности устроиться на работу. Интересы в той области, которую любил и знал, не совпадали с требованиями ра-

ботодателей. Не хватало сил для реализации планов.

Не подхлестнул и 2008-й, когда сбылась мечта – заочно выучился на историка в Иркутске. Преподавать в школе все равно почти не пришлось. Уже не было здоровья. Все меньше оставалось радости от жизни. Смысла. Веры.

«Нашему поколению очень не повезло. Воспитанные в советских традициях, мы в большинстве не были готовы к новым временам, жестким и циничным. Пришлось ломать себя на ходу. Наиболее способные, конечно, оказались наверху, а многие растерялись. К таким растерявшимся причисляю себя и я. В своих стихах я попытался выразить мироощущение своего поколения...» – напишет Вадим в аннотации к своей первой книжке, небольшой тираж которой, расфасованный в коробки, он с таким трепетом получал в местном почтовом отделении.

Первая книжка. Последняя радость за два года до смерти – 4 июня 2012-го Вадима не стало.

Он умер в сорок пять.

Остались любимая сестра и престарелый отец. И рукописи, часть которых разобрана и опубликована в провинции.

Прискорбно, но посмертной пристанью поэта зачастую выступают такие издания, в которых он прозябал всю свою короткую жизнь, не умея до нас докричаться. Тина и мертвые водоросли тут как тут, а ведь прошло всего шесть лет.

Вместе с тем живет уверенность, что в сорок пять Вадим не закончился, а лишь начался.

Надо только всем нам не пропустить это начало.

Вадим ЯРЦЕВ (1967 – 2012)

«И ВСЕ-ТАКИ ЖИВЕМ...»

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА

Он вернулся в Россию в начале весны,
В край голодный и злой, как во время блокады.
«Наши дали – видны, наши цели – ясны!» –
Сообщали плакаты.

В этом городе нет ни друзей, ни родни.
И, червонец отдав алкашам суетливым,
Он курил у пивточки, подняв воротник,
В ожидании пива.

Впрочем, нет. Здесь когда-то подруга жила
(Ах, студентка-заочница, Верочка-Вера.
А ведь тоже любила, ночами ждала...),
Вышла за офицера.

Его братьев везет по этапу конвой,
А он сам никому и ничем не обязан.
С этой слякотной и неуютной страной
Он надежно повязан.

Хорошо, что не ждут и к столу не зовут.
И что некому бросить: «Ну ладно, прощайте».
Хорошо, если твой долгожданный уют –
Чья-то койка в общежитии...

ПРОЩАНИЕ С СОЮЗОМ

Не с двушкой затертой и ржавой -
Прощаюсь с великой державой.

«Родопи» из куртки достану
И спичек у друга стрельну.
Оплакивать больше не стану
Пропащую эту страну.

Мы сами свободу глотали
К исходу суровой зимы.
Империю мы промотали,
Пропили Отечество мы.

Теперь ничего не исправить,
Былого назад не вернуть.
Империю – вечная память,
А нам – неприкаянный путь.

Держава отчаянных Ванек,
Как птица, расстреляна влет.
Как будто огромный «Титаник»,
Отчизна уходит под лед.

Советский по крови и плоти,
Я слезы сглотнул – и молчу.
Вы этой тоски не поймете,
А я объяснять не хочу.

* * *

Красавчик, бывший юниор,
Отличник, гордость школы –
Теперь известный сутенер,
Хозяин местной коды.
К заветной цели напролом
Он шел почти что с детства.
Комсоргом был у нас, орлом –
Хоть мог и отвертеться.
Всю правду он рубил сплеча,
Потратил уйму нервов.
Читал на память Ильича,
Переживал за негров.
Колонизаторов громил:
– Пускай не скалят зубы!..
Кричал про дружбу, братство, мир
И солидарность с Кубой.

А я на митинги не лез
И выступал не шибко.
Политиканство – темный лес,
Для дураков наживка.
Прошли былые времена
И изменились песни.
И больше он не вспоминал
Героев Красной Пресни.

Без суеты и громких слов,
Без лишнего надрыва
Они нагрели нас, ослов,
И это справедливо.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

И было голодно в стране,
И было холодно и сыро...
Мальчишка ходит во рваньё.
Она все реже видит сына.

Она таблетки жадно пьет.
Она гадает: или-или?
Она его не узнает.
Мальчишку будто подменили.

Пацан связался со шпаной.
Громят ларьки по околотку.
Под утро он идет домой,
Приносит сникерсы и водку.

Он что-то буркнет ей в ответ
И спать завалится на сутки.
Ему уже пятнадцать лет.
Его подставят эти суки.

Мать все равно сойдет с ума.
Вот и расти послушных деток.
Ему корячится тюрьма,
Колония для малолеток.

Отец давно стал алкашом –
Пусть захлебнется ей, убогий!..
Мальчишка с колеи сошел.
Его, как волка, кормят ноги.

В колени бухнуться? Просить?
Услышать мрачное: «Иди ты...»?
Такое время на Руси –
Подростки двинулись в бандиты.

Такое время – руки грей,
Снимай навар, скупай заводы.
Подростки кормят матерей,
Сидящих дома без работы.

Кричите, кто во что горазд.
Малюйте новые иконы –
Она мальчишку не отдаст
Неумолимому закону.

* * *

Мальчишки машут кулаками,
но в их глазах – тоска.
Они резонно полагают, что их пошлют в войска.

Пойдем туда, куда прикажут. О чем тут говорить?
Не мы задумывали кашу, но нам ее варить.

Когда оступишься на mine – забудь былой уют.
Здесь если не располовинят –
так все равно убьют.

Война дурманит, будто зелье,
отвергнутых мужей –
И ошалевших от безделья и водки сторожей.

Война пьянит авантюристов, отчаянных парней.
Им не прожить ни дня без риска –
все помыслы о ней.

Война доступна для бандитов,
забывших стыд и страх.
У них все будет шито-крыто и козыри в руках.

Им все равно пора на свалку. Им так и так – хана.
Но для юнцов (а мне их жалко) заказана война.

Они талантливые, черти. Зачем их тянут в строй?
Из них механик каждый третий
и программист – второй.

Пусть в мясорубку марширует
свихнувшаяся рать,
Но пусть мальчишек не шинкуют.
Им рано умирать.

ВОЕННАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

Я ходил в рядовых, я не рвался в начальство.
Все начальство в бою полегло в одночасье.

Все начальство скосило свинцовым огнем.
Мы играли той осенью с гибелью в прятки.
Где таких офицеров еще мы найдем?
Не получится. Вряд ли.

Впрочем, мне с какой стати о них горевать?
Свято место, я знаю, пустым не бывает.
Ничего не попишешь. В бою, что скрывать,
Иногда убивают.

Снайпер пулю вобьет в твой сократовский лоб.
Мородеры обчистят тебя и вороны.
Будь ты трижды полковник – коль ты остолоп,
Не помогут погоны.

Здесь, в российском котле, дьявол их разберет,
Что мудрят наверху. И не стоит пытаться.
Дан приказ отступить – мы выходим вперед.
Дан приказ отходить – мы решаем остаться.

Наша Господом Богом забытая часть
Третий год так воюет. И ходит в героях.
Я не знаю, кто главный при штабе сейчас,
Разбери гемморой их.

Может, лишь потому до сих пор и живой,
До сих пор не зарыт в придорожную глину.
Мы – пехота. Мы – смертники. Нам не впервой
Нарушать дисциплину.

Зацепило. Как пес, отползаю, скуля.
Верно режет пословица: «Бог шельму метит».
Если даже и сдохну Отечества для –
Вряд ли кто-то заметит.

Не считая тех крыс, что пригрелись в штабах,
Мы ступили за грань, за которой не страшно.
Все мы – смертники. Наши делишки – табак.
Впрочем, это – неважно...

НАВИГАЦИЯ-97

Идет попойка за попойкой.
Мелькает скучное кино.
С девчонкой, глупенькой и бойкой,
Мы пьем на лихтере вино.

Слышны команды: «Майна! Вира!»,
Скрипят порталые краны.
О, сколько нас, больных и сирых,
По всем углам моей страны!

Пора и мне уgomониться.
Прошли былые времена.
Как не крути, мне нынче тридцать,
А за душою – ни хрена.

И нет ни Родины, ни флага,
А то, что есть, – ненужный хлам,
И лишь живительная фляга
Меня спасает по утрам.

Какие дали нас манили!
Какой нам грезился простор!
У нас был выбор: или–или
(Довольно, в общем-то, простой).

Теперь ни выбора, ни цели.
Холодным ветром мир продут.
И те, что чудом уцелели,
От жизни лучшего не ждут.

Я стал психованней и злее.
Мне ваш уют, как в горле кость.
Наступит утром отрезвление –
Меня привычно душит злость.

Я – сын великого народа.
Меня не спрячете. Я – ваш.
Ах, эта пьяная свобода!
Ах, этот радостный кураж!

* * *

Был я наивен и молод.
Глуп я еще был и мал.
Помню, терзал меня голод.
Голод меня донимал.

Денег тогда не водилось.
Было невесело мне.
Шел я сдаваться на милость
К недружелюбной родне.

Гордость упрятав подале,
Вылижешь пол языком,
Только чтоб хлебушка дали
И не корили куском.

Где оно, светлое завтра?
А от меня в двух шагах
Ели икру коммерсанты,
Водкой поили шалав.

Господи, как они жрали!
Будто готовились в путь.
Им бы на лесоповале
Годик-другой оттянуть.

Чтоб их зарыли без гроба,
Чтоб их настигла гроза...
Темная мутная злоба
Мне застилала глаза.

Вспомнив об этом, отплюнусь:
«Тот еще был идиот!»
Кончилась хмурая юность,
Сытая зрелость идет.

Я, к сожаленью, не первый
Верил по юности лет
В эти марксистские перлы,
В коммунистический бред.

Равенство, братство, свобода...
Будет вам чушь городить!
Впрочем, сегодня – суббота.
Надо бы в церковь сходить...

ОДИНОЧКА

Мы видим впервые друг друга.
Метель меня сбила с пути.
Из этого чертова круга
Почти невозможно уйти.

Пацан осмотрел мои лыжи.
Хозяйка – с испугом – меня.
Не бойтесь, я вас не обижу.
Погреюсь часок у огня.

Сегодня особенно зябко.
И хочется выпить с тоски.
Заштопай мне куртку, хозяйка,
И дай потеплее носки.

Хозяйка бутылку достанет,
Закуску поставит на стол
И рюмки из шкафа расставит,
Чтоб я, не дай бог, не ушел.

Пораньше сынишку уложит.
Когда тот закроет глаза,
Она себя взглядом предложит –
И я не смогу отказать.

Не то, чтобы очень в охотку –
Но рядом никто не живет,
И тянет четвертую ходку
Веселый ее муженек.

Мне жалко ее, одиночку.
Я знаю, как холодно ей.
Пусть этой завьюженной ночью
Ей будет немного теплей.

* * *

Не скажу, что был сильно привязан
К этой ведьме – хозяйке угла,
Что косила единственным глазом,
Не краснея, нахально врала,

Сигареты таскала втихушку,
Обещала мне срок и тюрьму,
И соседке шептала на ушко
То, что знать ей совсем ни к чему.

Нет у ведьмы ни веры, ни цели.
Ей бы с лешим встречаться в лесу,
А она прозябает в райцентре,
Пропивает былую красу.

От нее воробыною стаей
Упорхнули и дочки, и сын.
Лишь с портрета, прищурившись, Сталин
Иногда усмехнется в усы.

В этой комнате тускло и сыро,
А под сталинским ликом в стекле –
Фотография младшего сына,
Что погиб на чеченской земле.

* * *

Меж нами нет четкой границы.
Бог весть, что мы завтра найдем.
Мы, как перелетные птицы,
Кочуем и ночью и днем.

Свобода! И мы замираем
В прощальном крутом выраже.
И то, что нам кажется раем,
Назавтра приестся уже.
Спасибо за то, что любила,
Что так малодушно лгала,
За то, что меня отпустила,
За то, что обратно ждала.

Ах, как задыхалось и пело,
Чужое отринув вранье,
Шальное бездумное тело,
Веселое тело мое.

Мелодией бреда весенней,
Мы пели всю ночь напролет.
И нам улыбалось везенье –
Никто уже так не сплет.

За вечные эти минуты,
Уйдя в предрассветную тьму,
Кивну благодарно кому-то,
Да так и не вспомню кому.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Все было на соплях, на нитках, на авось.
Все было тят да ляп и будет вкривь да вкось.
Я говорю себе: не нервничай, не бойся.
Тебе не привыкать. Проскочим на авось.

Авось не в первый раз. И, видно, не в последний.
Авось переживем и вырастим птенцов.
И если с Богом есть у нации посредник,
Так это лишь оно, чудесное словцо.

Сам черт не разберет, не то что Нострадамус,
Российских наших дел. До Бога – далеко.
Ему и невдомек, как все мы пострадались.
Ему вдали от нас вольготно и легко.

Еще не так давно нам с Богом было тесно.
Теперь, когда прижгло, назад его зовем.
По всем проектам мы давно должны исчезнуть
Но говорим «авось!» и все-таки живем.





АРХИВ

АВТОГРАФ БЛАГОВА

Светлана Александровна Гужева (Кузнецова) – дочь писателя Александра Кузнецова предоставила редакции автограф поэта Николая Благова.

Это документальное свидетельство отношения поэта к старшему товарищу, писателю-фронтовику.

Светлана Гужева пишет:

«Мой отец, Кузнецов Александр Родионович, – человек «сабельной чистоты», как характеризовал его Николай Благов. (Отец был его первым редактором.) Коля любил отца, часто заходил в наш дом для разговоров «про жизнь», они пили чай, общались».

В 1975 году в одну из таких встреч Николай Благов подарил отцу свою книгу с автографом.

«Первому и самому великодушному и мудрому редактору моему, поэту, герою-партизану, бойцу сабельной чистоты, душевнейшему и благородному человеку, Александру Родионовичу Кузнецову и жене его – доблестной сподвижнице – Лидии Николаевне на добрую память».

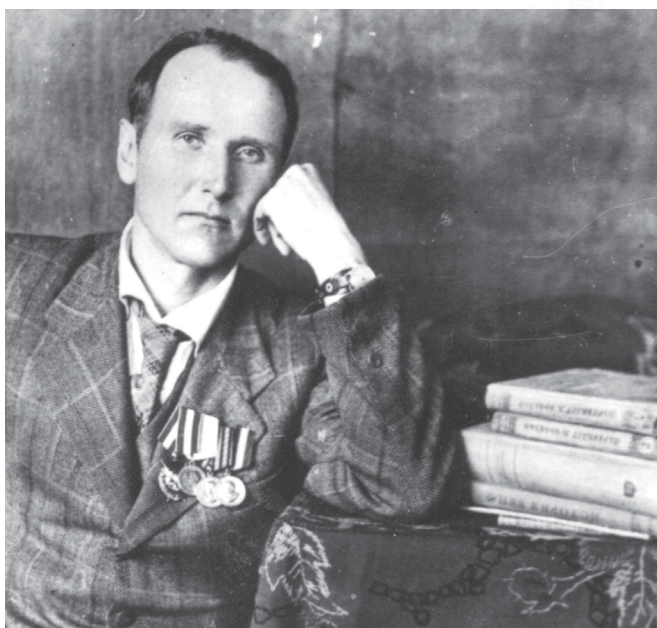
*Н. Благов
30 мая 1975 года».*

Прошли годы. Добрая память об этих людях живет.



Николай Благов.
Фото Бориса Тельнова

Тервому и самому
 великодушному и мудрому
 редактору моему,
 Поэту,
 Герою - партизану,
 Бойцу сабельной сечи,
 Дарственной книжке, благородному
 и словену Родионичу
 Александру Кузнецову
 и семье его-любимой стужинской
 Миди Николаевне
 На добрую память
 И. Тельнов
 30.11.75.

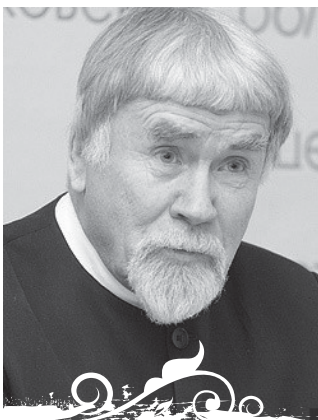


Партизан, писатель А.Р. Кузнецов. 1946 год

Дарственная надпись на книге



ДОРОГА К ХРАМУ



Валентин КУРБАТОВ родился 29 сентября 1939 года в семье путевых рабочих в селе Старый Салаван Мелекесского района Куйбышевской области (ныне поселок Новочеремшанск Новомалыклинского района Ульяновской области). После войны переехал в город Чусовой Пермской области, где окончил школу. С 1962 года живет в Пскове. Работал грузчиком, корректором и литературным сотрудником в местных газетах. Окончил факультет киноведения ВГИК (1972). Литературный критик, литературовед, прозаик, академик Академии российской словесности (с 1997). Автор книг «Виктор Астафьев» (1977), «Миг и вечность» (1983), «Михаил Пришвин» (1986), «Валентин Распутин» (1992), «Крест бесконечный» (2003), «Уходящие острова» (2005), «Подорожник» (2006), «Батюшки мои» (2013) и многих других. Член Союза писателей СССР (с 1978). Секретарь Союза писателей (1994 – 1999) и член правления Союза писателей России (с 1999). Член редколлегий журналов «Литературная учеба», «Русская провинция», «Роман-газета» и др. Лауреат многих литературных премий, в т.ч. имени Л.Н. Толстого (2000), имени Павла Бажова (2007), Горьковской (2009) и Новой Пушкинской (2010).

НАШЕ НЕБЕСНОЕ ОТЕЧЕСТВО

Книга эта родилась из пяти экспедиций, охвативших пока малую часть святынь, сияющих в христианской истории России и мира. Она рождена порывом и любовью немногих, и ее недостаточная историческая и богословская вооруженность, наверно, будет очевидна каждому глубокому уму, знающему материал полнее нашего. Но нам не терпелось поделиться радостью открытия, не терпелось сказать о чуде живого и остро ощутимого здесь свидетельства молодости и силы христианства.

В разные поездки мы порой проходили одними и теми же местами. Мысль шла той же дорогой, но видела другое. Душа не узнавала своего прежнего переживания, потому что росла, потому что прибавлялось новое знание, и сама жизнь не стояла на месте. Дороги истории долги, и на них может не хватить жизни, но все они, если чувствовать их верно и выходить с зоркой душой, ведут нас к себе, к своему Господню образу.

Мы выходим в наше небесное отечество, чтобы вернуться к преображенному земному.

Продолжение.

Начало в журналах «Симбирскъ» №5, 6 – 2018.

II

БЕСКОНЕЧНОЕ НЕБО

Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались... Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба...

Л.Н. Толстой.

Окно перед Пасхой

Когда долго живешь, понемногу начинаешь понимать, что всякий день тебе урок и школа. И у нее своя система. Раньше времени ничего не узнаешь. Вырасти надо для понимания.

Снова я после трехлетнего перерыв съездил в Турцию. Надо было проверять и уточнять написанное прежде, дописывать недостающие главы книги. Вернулся – садись и пиши. Заканчивай работу.

А только время идет, а материал лежит. Никак не прорастет, будто для отдыха ездил, хотя дни были напряжены и, кажется, даже машина к вечеру уставала от челночного снования из города в город. Но вот не пишется, и понимаешь, что раз сказав слово «небесное отечество», простым развитием прежнего материала не отделаешься. Будто там поверх твоего сознания росла какая-то новая мысль, а ты сразу не разглядел.

А какая? – из дневника не вытянешь. Ну и – тоже ведь не первый год за письменным столом! – не तोпишься. Читаешь пока попутные материалы, приглядываешься и даже с интересом ждешь, когда мысль поспеет и с какой стороны можно выхватить из клубка начальную нитку. И вот уже перед Страстной рассказываю товарищу о поездке, о первом Никейском соборе и жалуюсь, что очень уж материал противоречивый, что вот уже сколько я про Святителя Николая, к примеру, и его участие в этом первом Вселенском Соборе слышал – и про затрещину его нечестивому Арию, и про заточение, а теперь вот съездил, еще раз посмотрел и нигде в ранних историях церкви подтверждения этому не найду. А товарищ-то умен, в богословии покрепче и спокойно говорит: и не найдешь. Нету его в актах среди отцов Собора и, может, он в Никее и не был. А только все равно надо слушаться предания. Оно в церкви вернее и важнее истории. И коли оно говорит, что был, значит, был, и ты правильно думал и про простосердечную резкость Святителя, и про его заточение за неумеренное рвение. И про явление Богородицы со Спасителем, вернувших Святителю омофор и Евангелие, отнятые при «аресте».

И я не знаю, стыдиться ли надуманного прежде, потому что в первую поездку в Никею слушал житие и сердце. А про акты соборные не спрашивал – довольно было предания.

И вот тут с радостью кончик-то нитки и ухватываю: правда, растет в человеке вместе с верой и открывается по мере мужания души, не вредя ей, а только укрепляя и вооружая ее, готова к прозрению трезвых и ясных путей и самой души, и человеческой истории. Так что теперь можно прямо по дням дневник поездки воспроизводить, ничего не меняя. Оказывается, эта мысль там сама собой проступила, и ты

только не видел. А вот сейчас как будто окна перед Пасхой промыли, и все стало видно чисто и далеко.

На этот раз мы приехали в Константинополь на второй неделе Великого Поста.

Стамбул принял нас по-московски холодно, так что переход (перелет) из столицы в столицу оказался почти незаметен. И небо было так же пасмурно, и деревья так же голы. Глаз по туристской привычке пытался ухватиться за что-нибудь ярко-чужое. И не мог... Только перед самым отелем мы увидели акведук Валента – мерную когорту римских арок, и проснулись для впечатлений. Так что в отеле сразу завылдывали из номеров: у кого что? У меня – темная восточная улица с минаретом над соседней крышей, у соседей – акведук и часть площади в пестрых огнях кафе «Синан». Ум при виде вывески сразу вызвал в памяти читанное про этого Синана – великого архитектора, соперника автора Софии, строителя чуть не всех шедевров Османской империи, и улыбнулся – все в порядке!

А уж когда за завтраком на веранде увидели за акведуком мечеть Сулеймание, башню Баязета, минареты Султан-Ахмета и чуть видный, но уже зовущий к себе купол святой Софии, то и вовсе заторопились. Скорее, скорее вон: «пора на работу!».

Забывтый словарь

Вечером нам предстояла заранее оговоренная встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем и, чтобы потом не плутать по тесным кварталам, мы решили сначала добраться до Фанара, квартала Патриаршей резиденции, – узнать дорогу. А уж как добрались и узнали, то не могли не осмотреть патриаршей церкви святого Георгия – вечером-то увидим ли?

Церковь не более обычной приходской. Разве бедное барокко фасада с имперскими орлами над входом выдает какие-то притязания. Потом благодаря русскому консулу в Стамбуле нам попадет в руки старый безымянный ярославский (!) путеводитель по Константинополю 1888 года, и там об этой Патриаршей церкви отыщется обдуманно дерзкая фраза: «Великая церковь» – низкое и убого здание, последний приют патриархов, постепенно изгоняемых из великих храмов...».

Убогое-то убогое, но храмы красны не лицом. Нам трудно привыкнуть к рядам стульев в храме, придающем церкви вид Дома культуры, но, подойдя к иконостасу, увидишь древнюю икону Богородицы, некогда украшавшую св. Софию и перенесенную из той же древней, еще доюстиниановой Софии кафедре Иоанна Златоуста – прекрасную, инкрустированную дивным перламутром. Видел ли кто-нибудь этот изысканный перламутр, когда на кафедру поднимал-

ся этот беспокойный Константинопольский Патриарх, чье слово остается непревзойденным по ясности чистоте, покойной силе и неуступчивой твердости, за которую его гнали из края в край Византии, пока он не умер, не дойдя до последнего места ссылки – гибельной абхазской Пицунды.

Мы слышим его огласительное Слово каждую Пасху по окончании заутрени и временами кажется, что, когда бы не традиция, оно звучало бы куда реже, потому что и сейчас многим кажется «искусительным». Еще бы! Иоанн зовет в самый высокий час Христова воскресения прийти и тех, кто стоит в Церкви давно и оплатил свое стояние страданием, и тех вошел в нее только вчера, «постившихся и не постившихся» (это особенно трудно терпеть именно постившимся – для чего же тогда был их «подвиг?»), ибо для него в этот час для тех и других одинаково «ниспровержеса смерть и падоша демони».

А не самое ли дорогое в Патриаршей церкви – мощи святой Евфимии (молодая девушка, узнавшая в Халкидоне при императоре Диоклетиане за исповедание христианства «бичевание, колесование, разжженную печь» и не уступившая веры). Прежде они были в Халкидоне, в храме ее имени, но в пору иконоборчества были брошены в море и спасены теми, кто не терял веры. Теперь они здесь. По преданию именно в гробницу этой святой при общем строгом контроле положили во время Халкидонского Собора 451 года Никейский и Несторианский символы веры (Несториане признавали Христа предвечно рожденным, но все-таки считали, что Христос был человеком, ставшим Мессией только через наитие, а не соприродность Святому Духу и звали Богородицу человекородицей). Наутро по снятии печатей, Несторианский символ оказывается в ногах мученицы, а Никейский – в твердой руке. И все-таки армянская церковь с той поры остается с Несторианом и зовется «дохалкидонской». Скорее всего, конечно, предание было рождено позже, потому что для того, чтобы противостоять такому очевидному выбору святой, надобно было не просто воля, а дерзость. Так что уже здесь, в первом на нашем пути Константинопольском храме, нас постигает эхо горячих споров первых веков христианской церкви и столкновение предания и истории.

Тогда я не думал об этом, а теперь, оглядываясь на тот первый стремительный, тесный и бесконечный день, вижу это столкновение с внезапной остротой, словно в увиденном не было ничего случайного, а день был выстроен с мастерством небесного драматурга.

Я не знаю, как мы выехали к Фетхие джами. Кажется, ехали во Влахерны и вдруг все разом закричали шоферу: «Стой! Стой!», потому что мелькнула она, чье греческое имя мы узнали тотчас – Паммакарита, а родное узнаем только назавтра, когда станем обладателями старого путеводителя «Обитель Всеблаженнейшей».

Она поразит чудом «русской» красоты, напомним Чернигов и Киев, первые храмы Новгорода и Полоцка, пока не улыбнешься, поняв, что ты видишь оригинал того, что готов счесть повторением, что эта легучая красота выработалась ранее нашего крещения, хотя храм строен в XII веке – вершина только напоминала о длительности прежней дороги. Эта музыка окон, карнизов, гармония византийской кладки, эта

безмолвная молитва, нет-нет озвученная греческой каменной строкой над окном или нарядным поясом надписи под крышей, – все-все откликалось домашней памятью.

Вишня цветет у стен нежно и застенчиво, только подчеркивая красоту храма, а двор пуст, украшен несколькими фрагментами старых капителей, которым беспомощный взгляд не находит вокруг никакого объяснения. Откуда они? Что тут еще было? Неужели так же паслись куры, вытаптывая пяточок земли у абсиды до черной лысины, и так же переругивались турецкие теткли в кухне какой-то забегаловки, выходящей окнами в церковный двор?

Ан нет! Было, очевидно, место и колоннам. Храмото, оказывается, после падения Константинополя, когда София уже с первой пятницы нового владычества стала мечетью, принял изгнанного из Софии Патриарха и сделался высшей кафедрой здешнего христианства на 136 лет. И мощи святой Евфимии сначала покоились здесь. И только они, и образ Богородицы в Патриаршей церкви и остались живы от той поры. А могилы нескольких патриархов, выросших в этих стенах, нескольких императоров из Комненов и Палеологов, погребенных здесь еще до падения Константинополя – уже только трава и земля, корни вишни и пустой двор бедной мечети Фетхие, над которой вместо креста восходит, разрушая пропорции храма, бедный месяц, и которая внутри так приходски скудна, что нельзя и предположить красоты ее внешнего лица.

А по соседству уже манит укрывшаяся за стеной в тесноте катящегося вниз греческого квартала Панагия Мухлиотисса – церковь Успения Божией Матери, которую путеводители зовут «кровавой» и напоминают, что здесь нашли смерть около двух тысяч защитников Константинополя. Как и в Софии, где при взятии города тоже погибло несколько тысяч искавших укрытия в храме христиан. Они надеялись, что милосердие писано для всех и беззащитный человек перед Престолом Господним неприкосновенен. Увы, человечество льстит себе в мирных историях, создавая институт неприкосновенности в храмах – в тени Красного Креста и Красного Полумесяца, но без трепета и страха Господня нарушает свои установления при первых залпах пушек.

..День сужался и уже было ясно, что церкви (а они еще, слава Богу, есть и не все обращены в мечети) будут стараться удержать нас за полу. Будут искать взгляда и внимания, как человек в изгнании ищет соотечественников. И мы, уже только благодарно кивнув Никольскому храму и болгарской церкви, спешили в блистательную церковь Хоры, которая хоть и зовется в справочниках Кахрие Джамии, но уже забывает в себе мечеть, потрясая Юстиниановым величием.

Храм внешне как будто немногим больше Обители Всеблаженнейшей. Так же цветет у его стен вишня и так же пуст двор за храмом, хотя и здесь, как там, были сначала заточены по разным поводам, а потом и ложились в эту землю свойственники императоров и патриархи. Но там светит миру только лик храма, а тут надо переступить порог, чтобы смятленно умолкнуть перед великими мозаиками с ликами Спасителя и Богородицы, с чередой чудес и исцелений в паразах и сводах.

День был пасмурен, но и в его зябком свете кра-

ски мозаик горели свежестью утреннего рождения. И нельзя было и думать о том, чтобы описать эти лики, потому что у нас уже нет для этого словаря. Время постаралось подогнуть нашу речь под себя и отняло у нас вместе с полнотой и молодой силой веры и сам словарь этой веры. Наверное, можно сейчас найти великих мастеров и скопировать эти мозаики, но и повторив их до мельчайшей черты, ты будешь только бухгалтером и счетчиком морщин, но не передашь этой силы и покоя, суда и милосердия, небесной воли и земной власти.

Перед ними остро и больно чувствуешь, как мала и слаба твоя молитва, как она суетна и мелочна перед бесконечным небом. Только и подумаешь вместе с князем Андреем – «все пустое и все обман перед этим вечным небом». Но эти мозаики сложены и фрески писаны не для суда, а для благодарности и воскрешения света в душе. Это прорыв ТУДА! И он чудесно высоко поддержан фресками правого придела, где Христос в стремительном полете повергает адовы врата и выхватывает Адама и Еву со всем человечеством из зияющей тьмы, как из огня.

Оказывается, для полета совсем не надобны крыла, а только вот это сияние духа. Он, верно, так и возносился в свой час – объятием и покровом, увлекая апостолов, как здесь увлекает с собой наших первородителей – сила и радость! И там, под сводом, во фреске Паруссии, Второго Пришествия, ты тоже видишь этот сияющий, полный молодого ветра парус и с радостным смятением узнаешь, что это не низвержение и не осуждение, что там, в предстоянии Богородицы и Иоанна Предтечи, архангелов и апостолов к тебе прежде всего милосердны, тебя любят и ищут тебе заступничества, чтобы принять тебя в обитель света и разделить радость воскресения. Каждое изображение являет такой полет, такое вдохновение и такую радость, что разом понимаешь древних, которые звали не говорить о церкви, не рассуждать о Боге, а показать Его. И то, как Он показан здесь, подтверждает, что великая фреска, мозаика, икона есть лучшее убеждение и лучшая проповедь. Отец Павел Флоренский когда-то при виде небесного образа Рублева спокойно и справедливо сказал: «Есть рублевская «Троица», следовательно, есть Бог». И когда мы видим несравненную фреску «Воскресение» в церкви Хора, мы до всяких слов понимаем, что, не неся в себе ясного знания воскресения, не чувствуя его совершенной реальности, его так и не напишешь. Это подлинно само Воскресение, словно оно писано «с натуры» только что воскресшей, только что пережившей полет и спасение душой.

Так вот, значит, что такое было высокое христианство, вот чем Византия держала мир в лучшие дни и чем пленила русское сердце – свободой и полетом, любовью и милостью!

Когда мы вышли из Хоры, даже и день словно поднялся и обрел царственность, так что потом, когда мы ехали к Влахернской церкви, Золотой Рог сиял синевой и башни и стены Феодосия Великого казались по-прежнему непреступны в своем величии и былой непоколебимой мощи. И Влахернской церкви Божией Матери было спокойно за этими стенами. Она тысячелетие держала город своими святынями (построена в 435 году, а сгорела в 1434-м). Здесь хранились Риза Богородицы и Ее пояс. И городу было чем ограж-

даться от врагов. Помянутый мной путеводитель не без внутренней улыбки сообщает «От погружения хранившейся здесь Ризы Богородицы в волны залива возмущена спасительная буря для князей Аскольда и Дира и от Ея Пречистаго Лица возсияло наше православие». Если расшифровать эту темноватую фразу, откроется, что Богородица просто потопила суда наших славянских князей своим покровом в Золотом Роге при их попытке в 911 году взять город, и они ушли ни с чем.

Об этом нам не без ехидства напомнил нынешний смотритель храма – грек с маслинными глазами и скоромной улыбкой. Нынешний храм воскрешен столетие назад и так беден, что над ним и креста нет. Но святой источник, Агиасма пресвятой Богородицы все источает воду и храм продает ее. И от Агиасмы надо подниматься к фундаменту первого храма, сгоревшего в 1070 году, потом второго, сгоревшего в 1434-м и, наконец, к паперти сегодняшнего – все выше и выше. И только поднявшись, чувствуешь, что настоящая-то высота осталась там внизу и, поднимаясь, ты опускался. Век от века вера словно истощалась до нынешнего ослабевшего духа, не смеющего воздвигнуть над собою крест.

А на улыбку смотрителя осталось сказать, что мы не стыдимся урока, преподанного Богородицей, а одни, кажется, в мировом христианстве и отмечаем Покров как дорогой сердцу, близкий, внутренне народный праздник. Потому что услышали тогда, за семьдесят лет до принятия христианства, свет и силу Покрова, смиренно и благодарно приняли его, и без всякого противоречия истине видим теперь этот покров над своей Родиной.

С веками эта великая церковь будет медленно терять память и высоту духа. В пору иконоборчества ее распишут цветами и плодами, и, по свидетельству иронических историков, она станет больше походить на зеленую лавку. Когда же империя слишком приблизится к церкви и забудет Христовы слова, что «Царство Мое не от мира сего», торопясь управлять небесное и земное своей волей, церковь окажется втянута в мрачный хоровод дворцовых интриг. Императоры уже давно без прежнего волнения и смирения омывались в водах Агиасмы перед вступлением на престол и лестница, соединявшая Влахернский императорский дворец с храмом, уже служила не для того, чтобы оставить земную царскую гордость для поклонения Царю Небесному, и французский исследователь Шлумберже уже уподоблял ее Версальской: «Сегодня там император на носилках, окруженный... длинным рядом священников и монахов, бросает беспокойный взгляд на толпу сановников, среди которых он ежеминутно ищет грядущего убийцу и счастливого своего заместителя, который прикажет бросить на арену цирка его изуродованный труп; завтра тут поспешно с трепетом идет патриарх с длинной седой бородой в своем золотом одеянии; он знает, что царь, охваченный мрачным богословским духом, призывает его во дворец, чтобы предоставить ему выбор между ересью, которая погубит его душу, и убийственной ссылкой на какую-нибудь ужасную скалу Мраморного моря. Сегодня тут торопливо ведут в церковь принцесс, матерей, жен или дочерей какого-нибудь убитого или свергнутого императора, чтобы остричь им волосы, сорвать с них пурпурные

расшитые жемчугом туники, и отвести в темных монашеских одеждах в какой-нибудь монастырь до конца их дней».

После этого покажется естественным, что церковь не удержалась в православных руках и с 1204 года, со взятия Константинополя крестоносцами, сделалась латинской. В ней уже не было увезенной в Рим руки св. Георгия, не было Животворящего Креста и мощей апостола Луки. Не было образа Одигитрии, писанного рукой апостола.

Теперь из святынь осталась одна Агиасма. Двор беден, ржавая колокольня, сваренная из железа с единственным колоколом, царапает взгляд. А отсутствие креста над какой-то садовой скрытной архитектурой церкви отзывается прямой болью.

А уже пора к Патриарху, ведь мы на его канонической территории ставили два года назад памятник Святителю Николаю. И сейчас просили его о встрече для обсуждения возможности установки памятников апостолу Павлу в Тарсе, святой равноапостольной Фекле в Селифке и святым Кириллу и Мефодию под Кизиком на месте Полихрониева монастыря. В фойе патриаршей резиденции останавливает внимание мозаика с изображением апостола Андрея и апостола от семидесяти Стахия, которого ставил в епископы древнего Византия апостол Андрей. Это земля их проповеди. В приемной, как и у наших епископов, портреты предшественников сегодняшнего Патриарха по кафедре. Ряд начинается тем же апостолом Стахией и продолжается Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом. Поневоле вздрогнешь и не решишься сесть. Как же должен чувствовать себя человек, продолжающий на кафедре этот небесный ряд отцов Церкви, мучеников, изгнанников, святителей? Когда бы этот ряд был полон, мы увидели бы и портреты тех 18 патриархов Константинополя, которые остались в памяти церкви еретиками. Патриархи! А ты со своим слабым умом и немощной молитвой осмеливаешься думать о своей твердости и правоте исповедания, защищенный скорее невежеством, чем ясностью Богопознания.

Ожидание становится тревожным и вертится в памяти титул Патриарха «Святейший, величайший господин князь и владыка, архиепископ Константинополя, нового Рима и патриарх Вселенной».

А кабинет Патриарха оказывается прост и удобен. Хорошего греческого письма старая Одигитрия за спиной Святейшего была чуть не единственным украшением. Вероятно, такая же была писана апостолом Лукой в пору первой силы Влахренского храма, когда украшавшая ее пелена каждую пятницу открывала Лик Богородицы и оставляла Его открытым до субботы. Так что была утверждена специальная пятничная Литургия, которую служили Патриархи, а Великую Пятницу стояли и императоры. Назавтра мы встретим Патриарха во Влахернах за этой Литургией и обрадуемся, что этот тысячелетний обычай, потеряв царскую роскошь и лишившись самого Образа, который крестоносцы увезли в Венецию, сохраняется в прежней чистоте.

Впрочем, образ Одигитрии за спиной Патриарха мог напоминать и другую Одигитрию, писанную апостолом Лукой – ту, которая обходила город при бедствиях, и на Пасху полагалась в Хоре для общего поклонения, пока при падении Константинополя

захватчики, сорвав драгоценности, не разрубили ее на четыре части. В обоих случаях это был образ молитвы и памяти и соединял земное и небесное. И мне было в радость преподнести Патриарху Варфоломею альбом о Сергиевой обители и напомнить, что и Сергия до пострижения звали Варфоломеем, и что он не только чтил, но и видел Богородицу при своем служении.

Патриарх благодарил по-русски, и было видно, что многое понимает и без усилий переводчика. Он знал о нашей работе по прошлому приезду и благословлял новые усилия напомнить русскому человеку, что Турция не только рынок и место отдыха, а и Византия, родина его веры.

Когда мы вышли, я снова оглянулся на ряд предшественников Патриарха. Там были святые и были простые слабые люди, которые бывают и Патриархах. Там были свидетели славы Константинополя и унижения церкви в пору Османской империи, но слава Богу, ряд не обрывался, преемство не пересекалось и Великая церковь, даже отмеченная в путеводителе, как «низкое убогое здание» в глубине предания все та же Великая церковь, в которой ослабленно, а порой и болезненно для нас бьется стареющее, усталое, но все то же православное христианское сердце.

На улице уже был вечер. Юг ведь – темнеет скоро. Но мы еще поднялись к Софии, прошли по ипподрому с его обелисками и колоннами и даже заглянули в «Голубую мечеть», строитель которой ревниво глядел на Софию, очевидно вспоминая гордое восклицание Юстиниана по окончании строительства «Я победил тебя, Соломон!» и мечтал, что султан Ахмет точно так же скажет «Я победил тебя, Юстиниан!». И, говорят, такая фраза прозвучала.

Мы вошли в пустую мечеть, залитую огнями сотен светильников, свисающих сверху на сверкающем дожде, ливне тросов, и восхитились этим цветным, пестрым от росписей и ковров, головокружительным простором, но сердца наши не подвинулись. Душа молчала. Здесь побеждал дух соревнования, а не горение веры. И как ни лестно для нас было утверждение сербского писателя Милорада Павича, что по окончании строительства мечети ее архитектор, слишком долго проведенный за выведыванием тайны Софии, проснулся христианином, увы, это был только постмодернистский текст. Голубая мечеть не похитила тайны нашей Софии. И когда мы потом подошли к ней, обесчещенной минаретами, zagrożенной страшными контрфорсами и пристройками, она глядела со спокойной прямоотой и голос ее был чист и ясен. Она была внешне сто раз тяжелее мечети, но чудо ее оставалось нетронутым. Она и в чужом и бедном платье была царица перед сверкающей, но ряженой соперницей.

И мечеть и София были подсвечены и из ночи от Золотого Рога в полосу света внезапно влетали и тотчас пропадали во тьме молчаливые призрачные чайки, как бедные души. Кажется, и эти души не смешивались – каждая над своей святыней.

За ужином мы горячо спорили о храме (один из нас не признал красоты Софии) и спор этот (может быть, в этот час один на всю Турцию и Россию) был знаком живости этого Великого храма и все неумолкающего голоса Константинополя в русском сердце.

...День был так долго, что его нельзя было смирить

никаким сном и, когда в пять утра закричал муэдзин, пение показалось очередным голосом в споре. Заоткликнулись другие минареты, пошли чертить свои звуковые арабески, так похожие на алфавит ислама и узоры паласов, заткали небо золотыми коврами над Софией, Мрамарой, Босфором. Но окна не торопились вспыхивать, отвечая на призыв к намазу и, когда муэдзины стихли, стали слышны вдовьи крики чаек, а там взялись петухи (это в центре мегаполиса!), чьи песни беднее и короче разбойничьих песен русских петухов, и, наконец, загудели проснувшиеся машины.

И опять надо было бежать. На этот раз на Влахернскую службу Патриарха, где скоро опять со смущением отмечаешь, что пение муэдзинов и греческих православных певцов в храме одинаково пышно, гортанно, медно-переливно. И с горечью видишь, что тянутся на службу больше старые гречанки, спокойные интеллигентные матроны хороших семейств – ни одной из наших «баушек». Мужчин мало, молодых лиц почти нет. Как у нас бывало – пока мужчины суетятся в истории, бегают, убивают, создают партии, женщины удерживают церковь, терпеливо ожидая, пока мужчины набегаются и вспомнят небо и двинут дальше ереси и высокое богословие. И никак не привыкнешь к месту Патриарха на кафедре – в правой стороне у стены посередине храма, словно он только почетный наблюдатель.

Достоять, однако, не успеваем – ждет русский консул Сергей Васильевич Величкин. В Галате, в Пере, воспетой Буниным и Мережковским, Булгаковым и Павленко, звенит на Ставродроме декоративный трамвайчик, вываливается на улицу цыганская роскошь несчетных магазинов, лакированно блестя вечные лавры в кадках, отступают вглубь улицы посольства и храмы. Тепло, солнечно, празднично, уютно, ненаглядно. Но на минуту взглянешь на это щегольство глазами русского изгнанника 20 годов (десятки тысяч их ютились в соседних нищих улицах Перы), и красота сразу померкнет. Прекрасная улица горя, праздник беды ищущих приюта русских людей, пышная улица отчаяния. Хочется скорее оставить ее позади, как потом оставить и русское консульство – роскошный дворец, который почему-то в смешавшемся для тебя времени тоже кажется виноватым, что не защитил своих несчастных детей. Из его окон как на ладони Галата и там, за Золотым Рогом, сияющий город София, где-то внизу русская гавань, подворье Афонского монастыря и стрелка залива – именно в этом месте Константинополь протягивал в воде цепь, перегораживая залив от чужих судов.

Консул куда-то опаздывает, но с интересом вслушивается в планы и обещает все виды содействия, тоже смущаясь тем, что Турция только рынок и курорт. А нам важно все, что связано с Галлиполи, последним пристанищем белой Армии Кутепова и Врангеля, куда мы собираемся завтра. Сергей Васильевич пытается объяснить нам, как найти место русского кладбища, но видно, что дело это трудное – времени прошло много, следы потерялись. Долгое сопровитвление турок напомианию об этой странице русской истории, да и наше равнодушие только-только в последнее время преодолевается в верхах, и, слава Богу, уже присматривается место для памятного знака.

Намереваемся, было, добраться до Халкидона, но теснота машин и плотность дороги скоро убеждают,

что добраться, может, и доберемся, но не увидим ничего другого, тем более в Халкидоне, по всем свидетельствам, ни следа от христианских святынь. Спешим обратно и когда добираемся до Софии, она уже торопится к закрытию.

Леса, мешавшие увидеть весь объем храма в прежние поездки, только разрослись, словно каждая весна прибавляет побегов, но это не может ослабить впечатления, особенно ясного после вчерашней мечети Султана Ахмета. Там подлинно только цветной воздух, а здесь плоть веры, осязательная сила, перед которой бессильны все вторжения – михрабы и кафедрные шейхов, сбитые лица серафимов, громадные щиты с сурами Корана, нарочито искажающие ритм храма, его летучую высоту. Богородица в своде алтаря – великая София – милосердно глядит с небес нежно придерживая младенца, который, вероятно, и не чувствует этой невесомой, как крыло бабочки, руки. И когда бы сохранилась одна эта мозаика, то и ее одной было бы довольно чтобы понять, какая сила любви и свободы возвышала этот храм над миром. Он описан тысячекратно и высоко, всегда потрясенно, и я не собираюсь вступать в соревнование с теми, кто видел больше и слышал лучше, а только тороплюсь наглядеться, надышаться этой силой, принять его тайну без рассуждения и названия.

Я пишу это наутро, после литургии Входа Господня, которую стоял в одном из сельских храмов, где батюшка перед причастием замечательно сказал: «О чем это мы молимся перед Чашей: «не бо врагом Твоим тайну повем...»? Какую тайну? А ту, что мы только что пели и слышали в Символе Веры, что человек, приняв крещение, принимает и тайну воскресения, становится Богом. Бог делится с нами плотью и кровью, чтобы мы были одно и небо было нашим общим домом».

Вот и там эта тайна: Богородица – Любовь и София – принимают человека в дети Божии. И это не умозрение, а ясное знание, которое подлинно хочется укрыть от праздных глаз – «не бо врагом Твоим тайну повем». И опять я вижу в галереях, как неуклонно выступают из-под краски непобедимо золотые кресты, и знаю, что однажды краска больше не удержит их и они выйдут мерной чередой, как уже шествуют они над входом храма в притворе, и вместе с ними сам собою, без усилий церковных политиков и бряцания оружием, воздвигнется золотой крест и над куполом Храма, не неся в себе никакого вызова, кроме вызова любви и правды. Странно сказать, там особенно чувствуешь, что произойдет это в час, когда мы не декоративно как Юстиниан и Константин, складывающиеся на мозаике при выходе из собора к ногам Богородицы город и храм, как символ единства церкви и государства, а в своем сердце согласим два эти начала, так что рабочий день будет продолжением молитвы, а молитва – дня службы. И небом будет не купол храма, а само небо, и домом молитвы не стены, – а весь белый свет.

Вернувшееся к подлинному христианству человечество не сможет не увидеть этого. Сам храм, своими стенами, мозаиками, фресками, своими колоннами, всей своей высотой от сорока сверкающих окон барабана до пола, взорванного несчетными землетрясениями, каждым камешком подтверждает, что Слово приходило в мир и что Оно всесильно и нику-

да деться не может.

Стыдно, но необходимо помнить, что рядом, в нескольких десятках метров от Софии, стоит храм Святой Ирины, и в нем в середине IX столетия отвергнутый недавно императором Михаилом III за то, что не согласился насильно постричь в монахини его мать, патриарх Игнатий предает анафеме более гибкого патриарха Фотия, поставленного тем же Михаилом III. А Фотий в тоже видном отсюда храме Святых Апостолов предает анафеме Игнатия. Два православных патриарха одной церкви при одном императоре посылают друг другу проклятия. Конечно, что рано или поздно жди разделения церквей.

Нам придется спрашивать здесь слишком много и спрашивать нелюбезно. Может быть, в этом и есть благословенная сила этих камней. Для того они и стоят, чтобы мы вслушались, наконец, в главные вопросы и поняли, что церковь есть дело неотменимое, требовательное, что нельзя в ней стоять расслабленным. Нельзя ни на одну минуту вообразить себя окончательно победившим.

Вечер солнечен, тих, покоен, словно где-нибудь в Костроме. И мы еще успеваем поклониться колонне Константина, в чьем основании лежит Крест Господень, но уже не можем найти в сгущающейся к вечеру толчее и всеобщей торговле, словно весь город становится базаром, Храма Вседержителя, где предание хранит камень, на котором Христа обвивали чистой плащаницей перед погребением.

...Вступала в свои права ночная, тревожная жизнь, за которой мнилась опасность, тяжелый дым наргиле, тусклый блеск красного турецкого золота, быстрые взгляды женщин. Последние торговцы буклетами у храмов повисали на рукавах: дейч, руськи, – два доллар! Чистильщики обуви вырастали прямо из асфальта: «коллега, коллега!» (отчего-то все чистильщики Турции избрали эту «ученую» сторону обращения к иностранцам). Ткалась душная паутина восточной ночи, от которой особенно отраднo спрятаться в отеле за стаканчиком чая и попытаться хоть как-то обдумать день, предчувствуя, что теперь бег уже будет неостановим. И ты только улыбаешься правде хорошо здесь читающегося М. Павича, чьи герои «не успевали смешать крошки обеда и ужина, потому что все время были в дороге».

«Живый в помощи Вышняго...»

День соткался из случайностей – захотелось проехать вдоль Босфора на Север – к родному Черному морю. Старая карта обозначала здесь наличие христианских храмов. Этого было довольно. А что материалов не было, так иногда их и не надо – достаточно поклониться святыням, где некогда горело близкое тебе сердце. Как порой мы молимся в храмах о неизвестных нам или забытых людях, уверенные, что «имена же их ты, Господи, веси». Господь знает, но и нам грех забывать хотя бы словом молитвы. Поехали.

Но перед тем навестили соседнюю с отелем мечеть Фатих, потому что она была сложена из камней великого храма Святых апостолов, который как усыпальницу ставил еще Константин и в котором он и покоился, как и его мать, равноапостольная Елена, и апостолы Варнава, Андрей и Лука, император Юстиниан, отцы церкви и константинопольские патриархи Григорий Богослов и Иоанн Златоуст... Покоились

– теперь ни следа. Только византийская церковь, в которой была библиотека, стоит, зажатая кладбищем и гробницей завоевателя Константинополя, стиснутая железным обручем от разрушения и уже не помнит христианской крови.

Как бы хотелось, чтобы это была библиотека, где служил Константин Философ – автор нашей азбуки (ведь он был библиотекарем Святой Софии, а потом именно церкви Святых апостолов). А от мощей осталось только небо над мечетью, в которой, откинув дубленую бычью шкуру входа (во всех мечетях эти дубленые шкуры напоминают кочевому народу, чтобы не привязывался к месту, готовый встретить утро в другом месте) напрасно будешь искать воспоминания о своих святынях.

И уже не знаешь, хорошо ли, плохо ли, что многие мощи увезли крестоносцы после разграбления Константинополя 12 апреля 1204 года – из Софии, из Святых апостолов, из Влахерн, из обители Блаженнейшей. Все-таки они остались в руках христиан и не успели стать дорожной пылью, не пополнили ряд несчетных пустых гробниц на этой земле. Как при страшной эмиграции мертвых. Хорошо, что Бог отнял у нас воображение, и мы не можем увидеть небесного Константинополя, души которого видят на месте своего последнего приюта мертвые камни и осыпи разбитых кладбищ, на которых пасутся козы, да немногие любопытные туристы уносят на ногах прах прежней славы города и мира.

И опять, как во Влахернах, не можешь не подумывать, что не один враг расшатывает дорогие стены великих храмов, а и своя исподволь накапливающаяся человеческая слабость. Как не вспомнить опять конец IX века, когда у Константинополя оказались сразу два патриарха, не признающих друг друга. Сторонники Игнатия молятся в храме Ирины, а сторонники Фотия – в храме Святых апостолов, и следствием их взаимно неприязненной молитвы станет окончательное отделение Западной церкви от Восточной (870 год). Задолго до рокового 1054 года, когда дело дойдет до взаимной анафемы. И вот на месте храма собирающих Христову церковь апостолов высится воздвигнутая из рассыпавшихся в противоречиях камней мечеть с гробницей завоевателя, и обе церкви, вероятно, не чувствуют себя виноватыми.

...Дорога скоро уходит от Босфора и идет далекими чистыми полями, ухоженной ясной весенней землей – глаз не оторвать, как от всего, что создано трудом и любовью. Принимается идти дождь, но, кажется, только для того, чтобы сделать краски ярче, а чувство любви острее. В полдень мы подъезжаем к селению Визе, где отмечена на карте первая церковь, скоро находим в центре маленький уютный римский театр и тут уж в машину набиваются ребятишки, как разноцветные леденцы в банку, и везут нас к церкви – конечно, Софии. С Константиновых дней мудрость Божия призывалась на дела людей чаще всего. Храм перестал быть церковью, но не стал и мечетью – солнце и ветер взяли за него и выжигают, и разрушают как памятник. А рядом руины бань, казарм, высокой крепости. Оказывается, село стоит на страшной высоте, куда мы забрались так незаметно, и его и теперь без самолетов не взять. Только крепости падают не здесь на высотах, а там, в столицах, и сила и расчет строителя часто оказываются унижены каким-ни-

будь лукавым дипломатом, полагающим крепости к ногам неприятеля передачей нескольких листков на скрепке.

А село-то называется Визе! Не тень ли Посейдонова сына Византа, который охотился как раз здесь во Фракии, пока жар охоты не вынес его к Босфору и Золотому Рогу, разделяет с нами набирающий зноя день? Или его кормилицы Визии, которая могла жить на этом холме – здоровая и веселая, как разглядывающие нас женщины. Театр, термы, казармы затягиваются яростными колючками, приберегая руины до времени, когда мы будем более памятьливы и любопытны. Как обрывки пока нечитаемых рукописей и древних пророчеств, которые кажутся бедными избалованному высокими древностями уму. А только в истории нет случайных текстов – дойдет разум и до этого. Пройдет время? и я узнаю, что здесь краткое время находился в изгнании Максим Исповедник, умевший сказать в лицо богословствующим императорам, что не дело царей исследовать и определять спасительность догматов церкви. А они уж привыкли. И отняли у Максима «орудия учения» – вырвали язык и отсекли правую руку. И опять остается только вздохнуть – когда мы узнаем о своей истории все, земля вздохнет от печали и начнет жить иначе.

А наш путь дальше на Север, к морю, к форту Святителя Николая. Дорога стала беднее, пустынное, севернее, потянуло Коктебелем. Бесконечные холмы пошли толпиться, не давая машине ни минуты покоя. И, наконец, сначала мелькнуло между холмами, а там и разверзлось море! И крепость с уже одомашненными стенами и въездом, побитым тракторами и машинами. Из первого же дома, прилепившегося к крепостной стене, вышел веселый человек, сказал, что он цыган и его зовут Яша, и повез нас к церкви Святителя, словно ждал и готовился, торопясь попутно рассказать, что за чудная здесь рыба и как ловил ее его отец и ловит он сам. И зовет нас попробовать.

Церковь оказалась пещерной, выкопанной в жестком каменном твердом песчанике. И выкопана в Юстиниановы времена в VI веке. Значит, это один из первых храмов Святителя Николая, начинавших великую череду Никольских храмов, которые встанут потом по миру и особенно по России. Ведь до этого храмы были посвящены Софии, Спасителю, Богоматери и только единицы посвящались памяти апостолов. Велика же должна быть народная любовь и повсеместна слава Святителя, широко его небесное заступничество на земле и на море, чтобы здесь на другом от южных ликийских Мир конце страны, на крайнем Севере, ставился храм Николая. Храм стоит над агиясмой. Свет дня почти не пробивается к источнику и нельзя увидеть, велик ли он. Мы зажигаем свечи, и открывается небольшое озеро с холодной и чистой водой: пей – не напьешься. Храм был родней Влахернам и многим святым храмам, вставшим на источниках, которые по существу все святы, ибо извлечены из недр не человеческой, а Господней рукой.

Храм мал, но царственно прост. Поневоле опять вспомнишь Софию. Этот и весь-то поместился бы там внутри алтаря, но величие определяется не высотой стен, а крепостью духа. Тут и там стоял одинаково высокой души человек – сын Рима и Греции, сын знания и веры, сын долга и чести. Здесь стоял молитвен-

ный гарнизон верных, как стояли такие гарнизоны в псковских и киевских пещерных храмах, и «архитектура» их молитвы была проста и крепка, как их стены. Эти воины Христовы и положены были здесь и, если гробницы снова, как всюду, пусты, то только потому, что в свой час и эти воины ушли в небо, а плоть их стала этой причерноморской землей. Теперь за стенами этой обители другая вера, другие люди, но вот храм сохранен, не загажен, хотя стоит на отшибе от села и недалеко от деревенского пляжа с летним тракторчиком. Значит, чье-то доброе сердце все слышит звучащую здесь молитву и бережет ее в чистоте, которую не смеет оскорбить ни свой, ни чужой бездельник. И значит, форт Святителя Николая – все форт, все крепость духа. И мы ничего о нем не узнали, но он прибавил нам силы и даже как будто гордости за ясную твердость своей веры. Потом в селе нам будут радоваться как первым русским в этом краю, а мы благодарить их за бережность к Святителю, ведь они рыбаки и он их покровитель.

Море внизу будет неустанно биться о скалы, вытаскивая в них фантастическую, но бессмысленную архитектуру. А человеческий прибор истории, любви и веры, истины и жизни извлекать из тех же скал храмы святителей и исповедников, которые и в безмолвной пустоте и оставленности будут выполнять свою работу – хотя бы на языке камня и ветра договаривать слово, которое было у Бога и было Бог.

Выезжаем из Форты засветло, но скоро оливковые рощи по холмам и низкие дубравы начинают темнеть, разгораются звезды, дорога блестящей змеей бросается под колеса, и в Галлиполи приезжаем под холодным ветром, который с громом рвет волны Мраморного моря и несет по набережной песок, выжимая слезы. Море будет греметь всю ночь, и крик муэдзина едва пробьется сквозь него утром, как крик о помощи.

Скорее в музей – разузнать что-нибудь о нашей армии, о кладбище, памятном знаке, ставленном Кутеповым. Музей закрыт, хотя уже час как должен работать. Скоро является неторопливый молодой человек, равнодушно открывает нам мертвую экспозицию черепков и газетных вырезок о битве в Галлиполи армии Ататюрка с армией наших союзников в 1915 году. О нас ни слова. Целый год русская армия Врангеля и Кутепова стояла на этой земле в унижительной роли изгнанницы и приживалки. Армия, надо сказать, сохраняла достоинство, пыталась даже проводить учения, устраивала выставки, спектакли, выпускала газеты, уже мало надеясь, что вернется домой. Шли переговоры с Балканами, что примет Болгария, Югославия, но пока не приняли, обретались здесь. Между тем раненые умирали и оставались в этой земле. Генерал Кутепов задумался о создании памятника ушедшим русским людям. Памятник был поставлен по старой традиции. Солдаты сносили по камню или по горсти земли, как в древних курганах, и складывали холм, на котором поставили обелиск с надписью «Своим братьям – воинам, в борьбе за честь Родины нашедшим вечный покой на чужбине». Они открыли его 16 июля 21 года. Батюшка, протоирей отец Федор сказал Слово, которое закончил таким образом: «Путник, кто бы ты ни был, свой ли, чужой, единоведец или инооведец, благоговейно остановись на этом месте – оно свято,

ибо здесь лежат русские воины, любившие Родину до конца, защищавшие честь ее».

Вот и ищем чтобы остановиться. Находим на улице старика, который готов показать христианское кладбище. Кладбище оказывается французским – чисто, бережно, памятно. «Честь и Родина» значит на обелиске, и поневоле поблагодаришь и Францию, не забывшую своих детей, и Ататюрка, обратившегося когда-то к матерям своих противников: «Для нас нет разницы между Джонни и Мехметом, которые лежат бок о бок в нашей земле... Матери, утрите слезы – ваши дети в наших сердцах и покоятся в мире. Они тоже наши сыновья».

Наши солдаты здесь не воевали. Они здесь погибли. При открытии обелиска дроздовцы положили здесь венок со словами «Тем, кому не было места на Родине».

Они не нашли его и здесь. Мы обыскали все в поисках места кладбища, о котором нам пытался и не умел, или не хотел, щадя нас, рассказать русский консул. А когда все-таки набрели, увидели не просто пустырь, а свалку. Чего-то находили здесь козы и куры окрестных домов, но вперемежку с костями больше валялось целлофановых пакетов, которые размножаются сами собой, пластиковых бутылок, банок, бумажного сора. Солнце выжгло все это до пыльного тлена. Какие уж честь и Родина? Какие сыновья? Кто бы стал о них беспокоиться? – белогвардейцы ведь, а какие у белогвардейцев отцы и матери? Армия разошлась потом по чужим землям, и, кажется, никто не возвращался навесить покойных товарищей – в такие места не тянет.

Дай Бог, чтобы наши власти договорились. Нам сказали, что на днях здесь ждут кого-то из русских генералов. Может, дело и до памятника дойдет. Мы же пока ставим на камне свою малую модель, сделанную Борисом Сергеевым, – раненый ангел рвется в небо, но белоснежное крыло уже не поднимет его. Старемся снять с нижней точки, чтобы ангел не видел поруганной земли, а только свое вечное аустерлицкое небо, которое одно обнимало его и одно принимало в Господне сердце. И от боли торопимся уехать.

А день сияет! А небо! А солнце! Одно утешение: поставили кассету с валаамским чтением часов и чистый высокий голос с другого конца земли светло и бесстрастно звенит и звенит над полями: «Живый в помощи Вышняго в крове Бога небеснаго водворится ... не придет к тебе зло и рана не приблизится телеси твоему. Яко ангелом своим заповесть о тебе сохранили ты на всех путех твоих... Яко на Мя упова и избавлю и... С ним есмь в скорби, изму его и прославлю его...».

Дарданеллы вдоль дороги полны синевой и не ведают, что это и из-за них лилось столько крови. И хоть Ататюрк написал здесь на склоне горы у крепости Килитбахар о своих солдатах: «Земля, которую ты небрежно топчешь, скрывает века. Склонись и прислушайся. Здесь трепещет сердце народа». Но здесь трепещет и сердце нашего народа. И неловко признаться, но мы почти с нетерпением торопимся на паром, на азиатский берег в Чанаккале. И там сразу отмечаем, что люди здесь легче, светлее, увереннее – они дома, а Фракия, которую мы только что оставили, – все-таки север, Европа, стена вековечной соседственной вражды.

Господня пшеница

Музей и здесь закрыт – торопятся починить к скорым выборам. Но двор полон капителей, саркофагов, стел и мы торопимся снять глядящих с них прекрасных елен и парисов, потому что путь наш лежит в Трою. Развалины ее мрачны и тесны, театр мал даже для одеона (разница в том, что один – всеобщий, другой для редких ценителей музыки). Поневоле поймешь ученых, сомневающих, точно ли блестящую Трою, приамовы ли богатства нашел Шлиман?

Реконструкции открывают что-то скорее египетское – плоское, тяжкое, крепостное, замкнутое. Бедный Приам еще не знает, что на небесном совете «лилейнораменная» Гера уже выпросила этот город в жертву, и Зевс уступил ей, хотя и жалел Приама («боги блаженные жертв не приняли, / презрели их; ненавистна была им священная Троя / и владыка Приам, и народ копыеносца Приама»). И Гектор уже простился с Андромахой, не удержавшей своего шлемоблещущего героя ни своей любовью, ни сыном: «Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! Ни сына ты не жалеешь младенца, ни бедной матери; скоро буду вдовой я, несчастная!».

И скоро останется только вот это – девять уровней урбанизации, где один город растет из другого и поглощает его, чтобы быть поглощенным следующим. Как хоронят на старых кладбищах. Или, как когда-то меня поразило самое старое пещерное кладбище в Печерском монастыре, когда колоды XVIII проваливались в колоды XVII, те наполовину обращались в землю в XVI, пока, наконец, к XV все не делалось пылью под ногами. И ты стоял, со смятением понимая, что эта земля – прах твоих предков, и словно впервые слышал слава панихиды «Земля еси и в землю отыдеши, а може вси человецы пойдём...».

Та, первая Троя – уже земля, почва, а сверху Илион и иные города и времена. Не эта ли слишком обязывающая древность заставила Константина миновать Трою, когда он искал место для второго Рима? Ветхая слава висела бы на молодой столице неподъемным грузом. И город продолжал распадаться до туристической достопримечательности, до простодушного деревянного коня, из которого дети и солдаты любят глядеть на окрестности.

А мы уже думаем о другой Трое – Александра Македонского, который поставил здесь в соперницы той – свою Александрию Троадскую, норовя вознестись главою непокорною выше «Гомеровой героини». Город затонул во времени, как в полой воде. Только в садах вдруг выйдет колонна-другая, как нечаянно взошедшее беломраморное дерево Греции или повалится под ветром как потерявший корни лес. Колонны живут дольше всего – их трудно использовать в простом хозяйстве. И вот они белеют в садах и траве, как строки гексаметра – прекрасные, но уже не достающие слишком рассудительного сердца. И только на самой вершине очередного холма вдруг встанут циклопические троадские термы – храмы ухоженной плоти, пережившие храмы неокрепшего духа, да уже нечитаемого назначения руины храма? мавзолея? цирка? Солнце согревает их, и они теплеют и уже не кажутся враждебными в своем бесчеловечном величии.

В этом городе семь дней прожил апостол Павел, уча, как он умел, везде, – в синагогах, театрах, термах.

И эти бани в легкой и тяжелой слоновой поступи своих арок могли слышать его горячую до забывчивости речь. «Когда пойдешь в Трояду, – пишет он своему верному спутнику Тимофею, – принеси фелонь, который я оставил у Карпа и книги, особенно кожаные». Значит, уже были и не кожаные. Дорожная апостольская библиотека. Век ученый. Земля римская и греческая – одного слова недостаточно: надобен авторитет книг. Его спутники уходили отсюда в Ассос морем, а он – пешком, чтобы по дороге спасти еще чью-то душу. А через полстолетия при умном Траяне (при котором, как писал отец Сергей Мансуров и язычество «подтянулось» и за которым на Римском троне пошли сменять друг друга выдающиеся императоры, считавшие христианство тормозом величия) здесь явился другой великий христианин Игнатий Богоносец. И влияние и сила его были таковы, что император в заботе о скрепляющем «национальном единстве» начал новое преследование христиан.

Нероновы времена, когда христиан обвиняли не только в поджогах, неурожаях и наводнениях, но даже и в «старении времени» и на все бедствия знали один рецепт: «Христиан – ко львам!», отошли в прошедшее. Траян был умен и берег римский народ. Теперь хватили не всех, не принимали анонимных доносов, и даже тех, кто был обвиняем прямо, все-таки сначала уговаривали, но тех, кто шел до конца, отвергая все формы отступления, не щадили и в казнях не смягчались.

Старый антиохийский епископ Игнатий, которого в детстве по преданию Христос брал на руки и именно о нем говорил: «Если не будете как дети...», принял вызов времени. И Траян во время визита в Антиохию лично спросил его об исповедании и, видя твердость старика и любовь к нему паствы, лукаво обрел на смерть в Риме, где этого великого христианина знали меньше и где его можно было выдать за простого преступника. Его везли в Рим долго, может быть, в надежде, что епископ «одумается». И он останавливался по нескольку дней в Атталии, Филадельфии, Смирне и вот здесь, в Трояде. И написал отсюда три послания, в которых страстно ищет смерти, но при этом страшится тщеславия, не зная, достоин ли он такого исповедного подвига и страдания.

К нему были нежны, посылали учеников из Эфеса, Магнезии, Тралл, священников и дьяконов, чтобы они спешили насытиться словом, ведь он был последний, кто видел Спасителя, кто знал апостолов и учился у них. И ум его был светел, греческая маслина, к которой он прививал Господне слово, чиста. И, конечно, они берегли его и могли в своем рвении помешать ему, заслонить от страдания. И он отсюда, из этого, тогда александрийски роскошного города, где леса колонн чаще держали небеса еще языческих храмов и терм, писал в такой же мирный час садящегося солнца, когда жизнь особенно мила и любима: «Живой пишу вам, горя желанием умереть... Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я – пшеница Божия. Пусть меня измелют зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым».

И звери разорвали его милостиво, потому что мгновенно, словно зная его жажду. И всякое слово его горит с той поры в истории церкви и в каждом христианском сердце. И постоянный призыв его перед уже подступающим разделением к единению («Я де-

лал свое дело как человек, предназначенный к единению»), которого он искал следом за апостолом Иоанном, все делает свою строительную работу. Не зря, когда католическая церковь впервые повернулась к Востоку на Втором Ватиканском соборе 60 годов, она прибегла к освящающему единство имени Игнатия Богоносца. Но полнота призыва все не слышна и дело святителя и мученика все впереди.

А от гордости Александровой и Траяновой остались только доживающие стволы колонн по холмам да уже насильно, как на перевязи, поддерживаемые тяжелые своды арок во врастающих в землю термах. И, оказывается, они таинственно связаны. Колонны, может, потому еще и прямятся из последних сил, и термы на костылях, но достаивают в уже чужом им времени, чтобы мы лучше слышали, сквозь какую каменную силу пробивался слабый человеческий голос, слабостью своей сохраняя имя и этого павшего величия, руины которого держатся теперь только памятью апостолов.

Эгейское море все поворачивало перед нами краски заката, щеголяло ими как дорогими шелками, и уже маячил за закатной полосой смеркающийся Лесбос – остров Сафо, остров изгнания императрицы, а Ассос, куда апостол вышел из Трояды пешком, все не появлялся, и заночевать нам приходится в селе с нетурецким именем Аполлоний.

Утром, когда разгорится солнце, прострекочут первые тракторы, позовет ко второму намазу муэдзин, пройдут деревней козы и овцы, пронесут воду из источника старухи с карминными ногтями, мы увидим гордость села – роскошный осколок Аполлонова храма, который мог украшать Афины – странный привет из ушедшего мира.

Может быть, он разрушился под взглядом проходившего в Ассос Павла, как по преданию в Эфесе, по молитве апостола Иоанна, рассыпался храм Артемиды, так что Герострат напрасно кричал в ночь свое имя – чудо света пало без его пламени. Рациональному уму такое предание могло показаться нелепостью, когда бы мы не знали, что слово молитвы не торопится с последствиями, ибо у него другое время, но не теряет силы.

Что он делал тут, этот Аполлон между Троядой и Ассосом, кого собирал на поклонение и жертву? Эту цивилизацию еще воскрешать и воскрешать.

Если апостол Павел выходил в Ассос в ту же пору, что мы, дорога его шла в цветущих тамарисках, в оливковых рощах и садах, в миндале и гранате, во все выше поднимающихся по горам прекрасным селам, где в каком-нибудь Бекташе на одном склоне мы насчитаем девятнадцать почти вплотную ставленных колодцев. Нам объяснили, что кто желал деревне добра, ставил колодец. И вот их 19, и каждый житель может ходить к своему или чужому и женщины могут встречаться здесь, как в деревенском клубе.

А крепость Ассоса уже реет на страшной высоте. Не город, а каменный аул, где даже столы из камня, и улицы без огородов, без единого клочка земли. Дома врастают в скалы, скалы прорастают в греческие церкви, ставшие мечетями. Мостовые даже не выложены, а кажутся, только начерчены на самой скале. И теснота улиц каменная, спокойная, вечная. Неуклонность и крепость! Неизменные, вездесущие на Вос-

токе кошки, бабы в своих невероятных шальварах, деревенский юродивый на малой площади между «правлением» и мечетью... Домашняя, замкнутая, далекая от твоего мира жизнь. Пока мы идем к башням, хватают за полы старики, пытаясь всучить инжир, старухи предлагают ковры и паласы. Согласно путеводителю, их учила ткать сама Афина, которая, видать, не брезговала выходить из своего храма на акрополе для такой благотворительности, и ей здесь не было соперниц, чтобы превращать их, как бедную Арахну, в пауков.

Колонны ее храма, кажется, тоже вырублены из скалы и опасливо, чтобы не пораниться, одеты тонкой синевой небес. Не строены, а извлечены из горы. Мрачный каменный храм отдает железом и угрозой. Скала Акрополя чудовищна – циклопический сталактит. Мощь и тяжесть, мерный холод. Глаз оцарапывается этим наждачным серым цветом. Ни тени Эллады, юга и белизны. А сам город с его гимнасием, школой Аристотеля, театром, базиликами – внизу.

Снизу потом ни за что не догадаешься, что там, на скале Акрополь – скала и скала в страшной неприступности и свете высокого неба. А театр легко обнаруживает, как землетрясение вспарывает землю. Ступени пьяно валяются в испуганной дрожи, и нервная их волна не хочет выравниваться под рукой реставраторов. Мощная дорога из плит вытерта ногами поколений, подожвами солдат, горожан и меж ними апостолов Павла и Луки, которые встречались здесь перед отъездом Павла в Милет.

Эти римские дороги, эти агоры, по чьим плитам без следа могут проходить танки, как-то особенно подчеркивают мощь Рима, мерный шаг его тысячелетий, выглаживающий плиты, как море – камни. Таковы они в Тарсе, в Эфесе, здесь в Ассосе. И все они помнят неутомимого Павла, который даже в одном городе, кажется, все время шел. В фильме Пазолини «Евангелие от Матфея» есть прекрасный образ – Христос идет пустыней, степью, городом, и речь его непрерывна. Он обрастает толпой, не видит, что идет снег, льет дождь, летит сухая горячая пыль. Он идет и говорит. Его срок краток, ему надо много сказать, чтобы человечеству хватило для слова и молчания на тысячелетия, до конца мира. Вот и Павел неостановим – истина ищет выхода, и его слово еще не смолкло в Троаде, а уже раздается здесь, где умный правитель Гермес, учившийся у Платона, намеревался воплотить идеальное государство и звал Аристотеля, который учил в здешнем гимнасии красоте афинской диалектики.

Они не построили это государство, но приготовили и возделали мысль, способную к пониманию истины. И город не зря первым из городов Малой Азии принял христианство и, может быть, первым со своей хорошей философской школой услышал, о чем поет

Великим Постом православная церковь: «Петр витийствует и Платон умолче, Павел глаголет – и Пифагор постыдился...». Этого не слышала наша, земная материалистическая философия, торопя свое идеальное государство, и «собственных Платонов и Невтонов», и за самоуверенное знание заплатила, может быть, самую горькую меру, не расслышав «слишком простых глаголов» Петра и Павла.

Император и нарком

Гавань, из которой уходил апостол, полна ярких лодок и яхт. Лесбос все так же синет вдаль, как синел он в соседней Троаде. Прежде это была одна земля, но наше сознание никак не соединяет родины Сафо и поступи Павла.

Теперь в Милет отсюда морем не попадешь – море отошло от него, как отошло оно от Трои, Эфеса, Дидимы, словно только и потребно было для войн и апостольских миссий. А как мир и религии оказались достаточно вычерчены, море ушло...

Мы обходим Ассос по объездной дороге в бело-розовом кипении тамариска, в жужжании пчел, танце бабочек, в стремительно пролетающих лимонно-желтых, как канарейки, птицах, словно идем сквозь праздник. Находим торжественный вход и по прекрасной дороге из тех же вечных римских плит между стеной саркофагов еще раз входим в город поклониться руинам первых здешних церквей, где в грудах камней между оливами вдруг мелькнет белка и, как ящерица, миглом исчезнет среди руин. Поползти бегают по колоннам, как у нас по стволам, и видно, что здесь зверью – от ручного до дикого –



Пергам

камень родней травы и деревьев. Не хочется уходить из этой синевы, каменных меандров, пылающих алых цветов, царственных руин, но нас ждет Пергам.

Все южнее, светлее, наряднее, пестрее, восточнее. Море всегда делает жизнь праздничнее. Как отражение неба, оно удлиняет взгляд и дает лучше почувствовать счастье мгновения, потому что его краткость подчеркивается соседством с вечностью моря и неба. Наверное, поэтому здесь скорее рождаются религии и люди лучше слышат голос Бога. Вдруг мелькает указатель «Алтарь Зевса». А уж читал и знаешь, что апостол Иоанн именно о нем говорит в послании к Пергамской церкви, называя его «алтарем Сатаны». И хоть уже видел в Пергаме его опустевшее основание и знаешь, что он в Берлине, а все сомнение – вдруг к нему есть другая дорога. Тем более всего три километра, и мы устремляемся в гору, и когда высаживаешься через три км у указателя, оказывается, что до «алтаря» надо еще и идти три км, но уж раз приехали... И уже ясно, что не тот, а не остановиться, тем более что дорога в пиниях, в дальних горных селах так прекрасна, что только иди и радуйся. И вот он – «алтарь-то»!

Вершина скалы, каменный стол с канавами для стока жертвенной крови и до Зевса только протянуть руку. Эгейское море видно все, и когда бы не дымка,

наверное, можно было увидеть Афины и Олимп, где жил этот любитель громов и гнева, от которого только и можно было спастись кровавою жертвой. Ну, вот мы и были наказаны за языческое любопытство – когда въехали в Пергам, музеи уже были закрыты. Но, слава Богу, у нашего шофера был знакомый в одной из лавочек рядом с Асклепионом – городом Эскулапа. И из этой лавочки можно было выйти в уже закрытый музейный город Асклепия, минуя все кордоны, и с улыбкой счесть, что все-таки мы сбегали к Зевсу не зря, словно за благословением, ведь Асклепий был его сыном.

Термы были здесь храмом и уходили в землю под собственной тяжестью – так могучи были колонны и арки. Эта слоновья болезнь была в Риме и его провинциях наследственной. Агора еще помнила суету вчерашних лавочников, которые тащили больного каждый к себе, как в Афинах, прямо с пристани хватили приезжего за рукав учителя разных философских школ, предлагая на выбор софистику и стоицизм, эпикурейство и атоцизм. Здесь лечили всех и от всего: терапевты, хирурги, психоаналитики. Воды, библиотеки, театры – все годилось. Ведь недуги ума и изощренной души не легче недугов плоти. Город, где обнажалось то, что скрыто в суете ложно здорового полиса. Змея мудрости и целительного яда ушла отсюда в символику всех врачей мира.

Колоннады становились все призрачнее, кипарисы кладбищ все мрачнее, Акрополь и театр Пергама вдаль, на горе, все туманней. Солдаты соседней базы НАТО пели на вечерней прогулке что-то боевое и во всех армейских песнях одинаково бодрое «Не плачь, девчонка, пройдут дожди – солдат вернется...». Разве что здесь не было про дожди – так они редки. Пустынный безмолвный Асклепион засыпал, а учебные НАТОвские танки в низине и солдатские песни были безобидны и домашни, как все мирные звуки и тени вечера.

А сам Пергам назавтра опять начинался с храма Сераписа, так поразившего меня в первую поездку. И опять потрясал своим бычьим напряжением и угрозой. Кирпичное мясо стен было страшно. Когда-то он был одет мрамором, дивными двойными статуями Сераписа и Изиды, чья египетская сила и обезглавленность и в обломках прижимает тебя к земле. Башни потеряли декор и глядят совершенной крепостью. А в опустевшем подземелье храма блестит вода, и колодцы, уходящие в это подземелье, уже не помнят, что они выходили внутрь статуи, и сквозь них излетал вещий голос египетских божеств, утрашая своей могильной волей. Это была уже последняя усталость объевшегося Рима, не уголявшегося ни греческими, ни своими богами, сзывая чужих покровителей в единый небосвод, послушный как империя.

Мы когда-то видели в Немруте, как Аполлоны становились Митрами, а Гелиосы – Тотами. И не могли не вспомнить, что уже при двухсотлетнем христианстве Александр Север (222–235) держал в своей молельне бюсты Аполлония Тианского, Орфея, Христа и Авраама. Этот синкретист любил слушать Оригена и надеялся обмануть небо согласием всех богов.

И опять с горечью и гордостью видишь, как храм апостола Иоанна отодвигается от нечестивых стен и строится внутри них, обращая египетское чудовище в простую кровлю от зноя и ветра – бесстрашный Да-

вид в ограде поверженного Голиафа.

А храм обожествленного Адриана на Акрополе уже не поражает, как в первый приезд. Не то потому, что уже были увертюры храмов Аполлона и Афины в Аполлонии и Ассосе и величавые термы Трояды, не то потому, что тогда был вечер, садилось багровое солнце и с ним с метафорической красотой на глазах закатывался Рим. А сейчас сияло утро и, зараженное красотой античных руин, сердце поневоле звало его Гелиосом – такая была в нем непривычная русскому глазу в середине марта молодая чистота и яркость. Горел на солнце мраморный торс императора, воробы галдели в капителях колонн, как в чужих скворечниках, ветер гнул мощные пинии на месте престола Сатаны, колоннада библиотеки сияла праздной красотой – роскошную пергамскую библиотеку влюбленный Марк Антоний подарил на свадьбу прекрасной Клеопатре.

Негодование мешается с восхищением. Дарит чужое, но не предметы роскоши, которые, казалось, более пристали египетской обольстительнице, а книги – историю, поэзию, науку, которые могли быть оценены только широким и развитым умом. Другое дело, что старые книги, как древние камни, нельзя сдвигать со своих мест – разрушается живое целое. История живет и убедительнее там, где она написана, а не в изгнании, хотя бы и почетном. К тому же, она потом сгорела в Александрии, и теперь только ветер в колоннах может вспомнить страницы, которые он листал здесь две тысячи лет назад.

Театр низвергается каменным водопадом к храму Диониса, к руинам другого театра, где в запираемой на время реке имперские честолюбцы разыгрывали воспоминания о морских победах Рима. И дальше – к бедным окраинам, где дети катают с горы в обмелевшую, забывшую театральные забавы речку пустые железные банки и долго слушают их веселый прохот.

А царственные колонны Адриана уже больше напоминают не о славе Рима, а о смутной ереси, распространившейся здесь уже в первом веке – о николаитах, которые умели так отдавать кесарю кесарево, что уже ничего не оставалось Богу. Христиане по званию, они думали согласить чувственную роскошь римской жизни с христианской победой над смертью (и жить хотелось без опаски, и языческих жертв не избегать, и числить себя добродетельными). Человек уже тогда предпочитал удобные пути, как будто Христос не был распят, и как будто к той поре почти все апостолы не кончили мученической смертью. И потому апостол Иоанн в Апокалипсисе писал о николаитах с ненавистью и звал христиан Пергама держаться христовых путей, как держался его здешний мученик, «верный свидетель Антипа».

Этот первый пергамский епископ, был замучен при Домициане, который сошел потом на остров Патмос и самого Иоанна. Один любопытствующий француз как-то собрал книгу, которую назвал «Сад казней», представив всю изобретательную низость человеческого воображения в деле мучения другого человека. В этом «саду» христиане занимали самое почетное место. Их зашивали в шкуры животных и бросали на растерзание зверям, их обливали смолой, чтобы приготовить живые факелы для шествия императора, бросали в кипящее масло и отдавали детям «для игры», чтобы дети учились владеть ножами

и волей во славу Рима на живых мишенях. «Верного свидетеля» и дорогого апостолу Иоанну человека мученика Антипу бросили в раскаленного железного быка, чтобы мука была дольше.

А спустя полстолетия при другом благочестивом императоре – философе и аскете Марке Аврелии другого пергамца – Аттала, прежде чем бросить львам, возлагали на раскаленную решетку, поливая раны солью и уксусом, чтобы обоняние Зевсов и Юпитеров могло быть утолено дымом христианской жертвы.

Сказать бы с Пушкиным «Ужасный век! Ужасные сердца!», но ведь это не век – века! И ужасные-то сердца не у палачей, а у просвещенных императоров, которые, волей тоже просвещенных авторов, исключив эти главы их жизни, гордою когортой войдут в «жизнь замечательных людей». Об этом здесь думаешь часто, и ум, воспитанный на других исторических принципах, уже не может вместить страшной «эстетики» «сада казней». Не в застенках НКВД, не в уголовном бараке, не на этапе и лесоповале, где изводили русское священство все за ту же старинную «вину» – нежелание поклониться кесарю (к этому, страшно сказать, слух человека XX века приучился), а в роскошных театрах, под сенью архитектурных «чудес света». Вроде «не сходитесь!» Но тут-то и понимаешь, что на «Царство Мое не от мира сего». У «сего мира» ответ в сущности всегда один и различается только исторической декорацией, платьем исполнителей и «техникой» мучений. И отложивший перо после очередной блестящей мысли Марк Аврелий, немногим окажется отличен от отложившего наган наркома Ежова, как ни неприятна эта мысль историку великого Рима и просто просвещенному интеллектуалу.

И красота, и сияние пергамского дня стали не в радость.

Живые и мертвые

Мы спустились в равнинную Фиатиру. Солнце, молодые виноградники, цветущий миндаль и апельсины на уличных деревьях скоро уведут от мрачных мыслей и заставляют лучше понять слабого человека, каковы все мы.

Фиатира потеряла из христианского прошлого почти все, как, впрочем, и из античного. Малая площадь в центре города с рощицей колонн да сотней собранных по окрестностям фрагментов тех же колонн и капителей, с которых нет-нет поглядит в утешение крест, – и все. И здесь уже напрасно спрашивать о помянутой апостолом Иоанном в послании «Ангелу Фиатирской церкви» Иезавели – лжепророчице, норовившей, как и пергамские николаиты, сделать двери христианства пошире. Но ведь из Фиатир была и первая из обращенных апостолом Павлом женщин – Лидия.

История церкви при этом упоминает еще, что большинство христиан Фиатир были монтанистами – крайними аскетами, исключавшими вообще служение женщин в церкви. Католичество примет от них безбрачие священства, хотя и отшатнется от слишком жестокой аскезы, которую славил у монтанистов Тертуллиан и которую особенно гнал Рим. Сколько из мучеников христианства, погибая за имя Христово, были еретиками, не ведая об этом, знает только Отец небесный. Монтань торопил Второе пришествие, го-

рел пророчеством, отодвигая разум для экзальтации и, верно, и сегодня нашел бы много горячих поклонников из молодых неофитов.

...Дети играют в футбол на проезжей части, магазинчики по-домашнему выходят на улицу, белозубые соискатели власти улыбаются с предвыборных плакатов. Шумит повседневная, такая в спокойный мирный час счастливая жизнь, что на минуту чувствуешь острый укол печали, всегда соседствующий с чувством счастья. Вот сейчас приедешь в гостиницу, включишь телевизор, чтобы в ленте новостей услышать, что там – дома, и от мимолетного покоя не останется следа.

И все едет с тобой, и день ото дня делается навязчивее вопрос: как они сопрягаются – пламень веры и покой обычного вечера, императорское желание счастья своему народу и скармливание христиан львам. Построение счастья «для всех» и расстрелы в храмах, так что в одном только моем Пскове эти кладбища обнаружены при ремонте в последние годы в храмах Нового Вознесения, Рождества Иоанна Предтечи и Василия-на-горке. Это вопросы риторические как «Скажи-ка, дядя, ведь недаром?», но боль их от этого не меньше. Может быть, для того, чтобы она не затихла, и стоят Пергам, Фиатира, Филадельфия, в которую мы доберемся только завтра с утра. Никак все не привыкнешь, что день всегда короче планов, которые успеваешь настроить заранее.

Приехали пораньше, а на воротах замок. А снято нам одни руины базилики, которую в прошлый приезд мы видели только ночью. Руина тогда упиралась в звезды и была страшна, а надписи и кресты, выхватываемые тогда лучом нашего фонарика, призрачны и бесплотны. Три столпа, оставшиеся от некогда величавого и тоже поначалу вряд ли христианского храма – от этих стен веет размахом пергамского Сераписа, словно храмы были близнецами – и утром не теряли ночной мощи.

Ждать зрителя не было сил, и мы проскользнули под воротами. Скоро явился и зритель и все, слава Богу, обошлось без полиции.

Утро обнажило даже чуть видные остатки фресок – ризы и нимбы святительского и апостольского чина. Душа торопилась узнать в нечитаемых пятнах святителя Игнатия Богоносца и апостола Иоанна – Иоанн хвалил фиатирцев. Отсюда потом вышел мученик Германик, почти мальчик, который пострадает потом в Смирне, ободряя и укрепляя в страдании и более зрелых людей. И, хваля фиатирцев, апостол корил сильных здесь в его пору евреев. Евреи были «привозные» (после разгрома Иерусалима) – для обслуживания армии Веспасиана и, верно, держались закона с особенной энергией, стараясь удержать им и свое единство, и подправить окрепшее в городе христианство. «Найду в законе – поверю, не найду – нет Евангелия». С эти сталкивались уже Петр и Павел. Еврейство было готово принять и Христа, только оставив его с собою в границах закона. Ангел Господень устами апостола с гневом напоминает шатающейся части: «...вот Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее... Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы... они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя» (Откр. III, 8, 9).

Он отворил дверь и этого гигантского храма. Дверь эта в разрушенном храме не закрыта и сейчас. Остатки фресок продолжают свое учительское дело. И хочется думать, что они не скрываются под натиском времени и ветра, а только еще проступают, как кресты Софии, по мере того, как яснее наше сердце и очищается слух. Вопрос этот о диалоге Закона и Евангелия, Ветхого и Нового Заветов не ослабел и ко времени, когда Филадельфию по пути на казнь в Рим проходил Игнатий Богоносец. Похоже, он застал споры в еще Иоанновой остроте, и потому писал филиладельфийцам о том же: «Не христианство уверовало в еврейство, а еврейство в христианство» и «возлюбленные пророки только указывает на Христа, а Евангелие есть совершенное нетление». И опять напоминал о необходимости единства – «бегайте, бегайте разделения».

Спор не стихает и сегодня. И у нас тоже найдутся сейчас приверженцы той и другой стороны, которым хотелось бы развести книгу на две исключаящие друг друга части. Фундаментальный иудаизм выносит Новый Завет за скобки – «яко не бывша», крайняя часть молодого православия, в свою очередь, охотно сочла бы Ветхий Завет подлинно Ветхим, навсегда преодоленным и отмененным Новым Заветом. И вот руины Филадельфии стоят среди чужого их проблематике города, и турчанки в веселой утренней простоте вытряхивают ночные сны из своих одеял прямо из окон, и дети бегут в школу, и торопится рабочий народ, не глядя на учительные стены и камни, потому что избрал для себя третью Книгу – Коран. Им еще предстоит узнать, что чужих духовных проблем не бывает, и эти камни стоят и для них. А нас день зовет в блестящие Сарды («И Ангелу Сардийской церкви напиши...»).

Километры виноградников чисты и как-то выставочно нарядны. Трактора где пахут, где культивируют поля. При подъезде к Сардам взгляд помянут руины в поле. Доберешься, а это базилики – где полторы стены, где две. И поле заходит прямо в них, потихоньку подтачивая и эти стены. Где молился народ, жадно дышит готовая к севу земля и остатки стен, тень их, уже мешают ее дыханию. Так было в Патарах, в Лаодикии, в Троаде, где теперь давно одни чистые поля и сады. А стены-то в руинах, как везде, сложены из остатков колонн, архитравов, фризов. Прекрасные мраморы Артемид и Афин разбиты и пущены в «забутовку» новой торжествующей церкви. И с неотступной горечью думаешь, что когда обращаешься хотя бы и с духовно чуждым и умершим миром таким неблагоприятным образом, рано или поздно будешь отомщен высшей Господней историей, которая умнее коротких нравственных человеческих пониманий.

Ничего в Божьем мире не бывает напрасно и враждебно небу, если только не делается с вызовом ему. Обломки этих колонн и тимпанов тоже были некогда молитвой еще не угаданному, неверно названному, не постигнутому слабым разумом и духом, но тому, тому Богу и потому они были прекрасны. А, назвав верно и поспешно разрушив чужое и роскошное во имя праведной бедности, скоро услышишь остерегающий голос своего же зреющего сознания и пожалеешь о совершенном.

Ведь наши крестьяне жгли прекрасные усадьбы не одних «Салтычих». Они жгли Блока, Пушкина, Тур-

генева, кто думал о них больше, чем они сами о себе. А вот хотелось мужику скорее примкнуть к торжеству нового учения и «погулять» на свободе.

Вот и тут, в Сардах, христианская бедность была понята как крестьянское восстание, а когда мысль поднялась и начала сознавать себя, уже летели на быстрых конях более молодые народы и отрицали и эту правду во имя, казалось, еще более верной.

Но когда-то надо остановиться в этом беге и услышать Господне великое «Царство Мое не от мира сего». И тогда храм, если он помнит в себе весь путь поиска имени, примет в себя минувшее, как свое. И посреди любой цивилизации будет стоять знаком развивающегося мира, напоминанием о свете Истины, Пути и Жизни, преображением, претворением минувшего в единое сияние Святого Духа, а не неразборчивым умственным синкретизмом, собирающим бюсты несчетных богов в одной молельне.

Туристическая корысть, сохраняющая руины, тут служит хорошую службу. Пока побережем для праздных глаз, а там, глядишь, услышим и уроки.

И когда к дороге выходят прекрасные и примерно сохраненные остатки Сардийской синагоги и Палестры, глаз торопится насладиться ими. Я никогда не был в синагогах, не знаю их устройства. И не могу сказать, таков ли должен быть амфитеатр горного места, каков он здесь в уже старательно обновленном мраморе, таков ли престол, охраняемый львами и покоящийся на почти страшных в своей мощи орлах (это при иудейском-то запрещении человеческого и животного изображения в храмах)? Таковы ли бегучие мраморные свастики пола? Скорее это присвоенное синагогой великое наследие Креза – последнего из Лидийских царей, ведь Сарды – это его город. И уж он постарался для того, чтобы сделаться героем чуть ни при жизни родившейся поговорки о его богатстве. Его реки несли золото, так что здесь не без права вспоминали и Мидаса. Надо было только успевать постилать в быстрые воды шкуры овец, чтобы шерсть их делалась золотом. Его верблюды едва успевали отвозить это золото в Эфес и Пергам, чтобы и их боги, их Артемиды и Афины были благосклонны к Крезу, а грядущие путеводители не забывали о его храмовых вкладах. Монетный двор едва успевал чеканить львиные головы на серебре и золоте Сардийских монет, а мир сегодня уже только копирует тот первый золотой дождь своими, увы, не имеющими никакой реальной цены пфенингами и лирами, пенсами, пиастрами и рублями. Синагоге было откуда брать украшения, достойные великого города.

Про палестры и гимназии, в отличие от синагоги, хоть немного знает и самый бестолковый ученик школы для новых русских. В них вырастали быстроногие олимпийцы, известные нам по черно и красно-фигурным вазам и прекрасным скульптурам Скопаса, Поликлета, Мирона, по мраморным бегунам и дискоболам, разошедшимся по музеям мира, оставив на русских стадионах нескладных гипсовых учеников. Тут впервые можно представить, каковы были эти элитные спортивные школы. Галереи и ниши были полны великих мраморных образцов Скопаса и Фидия, чтобы юношам знать «делать жизнь с кого». Колоннады и портики легки, бани изящны, залы светлы, и небо в квадрате прекрасно рассчитанного двора

для игр, кажется, тоже рассчитано с Эвклидовой безупречностью.

Теперь, когда я читаю у Германа Гессе о Касталии, духовной аристократии человечества, отдававшей игре лучшие силы, ибо из игры строился свет мира, я вижу двор сардийской палестры и понимаю, что такое дисциплина и дух высокого Ордена. Палестра не зря стоит бок о бок с храмом, ставшим синагогой, – они ковали одного человека, надеясь сделать его богом. И попались на гордости, которая рано или поздно оказывается на всех орденских путях.

А по другую сторону дороги у подножия недостижимого Акрополя, где уже хозяйствуют одни орлы и ветры, опять, как в прошлый приезд, поражает храм Артемиды. Он гордится, что он больше Парфенона и, кажется, не уступает ему в красоте своих ионических колонн, которые так безупречны в своих капителях и базах, что сразу понимаешь ответственное значение слов «эталон». Эта чистота кажется недостижимой и реальность ее не отменяет изумления и неверия в то, что такая каменная чистота возможна.

Женщины, прислонившись спиной к прогретой солнцем стоящей на земле капители, вяжут, поглядывая на внуков, которые съезжают с ионических завитков, как с детсадовой горки, и носятся за овцами. Овцы пасутся тут же у подножия храма и пастухи в обычных пиджаках и свитерах все равно похожи на цитаты из библейских иллюстраций Доре. Меняются одежды, но ритм жизни и древность ремесла накладывают одинаковые отпечатки вечности.

Наш маленький византийский храм под стенами Артемиды, в котором когда-то отец Валентин торопливо собирал камешки, чтобы положить в основание своего храма на острове Божье дело при истоке Волги, бережно закрыт новенькой дверью – значит, его тоже понемногу приводят в порядок.

Медленная тихая буколическая жизнь, как во времена Вергилия и Феокрита. Но сердце помнит гнев Господень, когда тот диктовал апостолу Иоанну послание к ангелу Сардийской церкви: «Ты носишь имя будто жив, но ты мертв» (Откр. III, 10). Артемиды закрывала полнеба своей красотой, Гимнасий учил своих бронзовых отроков совершенству, но и Тайнозритель знал, что писал, когда выговаривал эти каменные слова, – «но ты мертв» и призывал каяться и бодрствовать и отыскивал пример этого бодрствования здесь же. «Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны (Откр. III, 4) история церкви чтит здесь великого епископа, который явится через полстолетия после Откровения – Мелитона Сардийского. Он поймет, что телесное совершенство совсем не означает совершенства духовного и что «здоровый дух в здоровом теле» – это только римская физкультура, не ведающая о началах подлинного духа. Мелитон как раз, поди, по крепким юношам, выходящим из стен Сардийского гимнасия, и понимал лучше всего необходимость нового образования, преподавания Господних начал, для которых потребна иная азбука. Ведь Христос не зря подчеркивал: «Заповедь новую даю Вам» и «Се творю все новое».

Мир был уверен, что достиг совершенства. Императоры входили в ряд богов с уверенностью окончательной выясненной истины. И бесконечное небо

напрасно глядело в их крепкие затылки. Литые шеи не давали им поднять глаза в небо, как сегодняшней охране крупных бизнесменов. И новые христиане ведь не с другой земли приходили, а из той же толпы гимнастических юношей, из прихожей Артемиды, из императорской стражи, из пастухов, и еврейских торговцев. Им надобна была школа. И Мелитон терпеливо и последовательно писал книгу за книгой: «О природе человека», «Об образе жизни», «О душе и теле», «Об уме», «Об истине». Он «белил» сардийские одежды, чтобы их носители «были достойны» Господней любви. Новая дверь малого византийского храма в тени Артемиды радует меня. Там настраивается памятливого молчание и проступает нестареющее знание «о душе», «об образе жизни», «об истине».

А между тем уже пора в Смирну (к ангелу Смирнской церкви).

Бедное богатство

О Смирне много написано: о ее море, неаполитанской красоте, воротах в Грецию, об избалованности города. Пока читаешь, отчего-то непременно вспомнишь Одессу. Город действительно оказался щегольской, блестящий, изнеженный. Он сыпался с горы к морю блеском черепиц, окон, веселой лавиной, как битая посуда на солнце. И мы с умыслом поплутали в нем, чтобы после архаических Сард подышать молодой Европой, почти Италией. Здесь жили левантинцы (странный народ, смешавший греческую, итальянскую, турецкую и испанскую кровь), и их считали заносчивыми, ленивыми, и они охотно поддерживали это мнение. Город был вечным гнездом западников для Турции, центром оппозиции, городом первой газеты, словно море питало его вольномыслие и шумную свободу. Он был стар, ведь он был – страшно представить – родиной Гомера! И он был современным Клондайком, куда стекалось все авангардно-предприимчивое. В его археологическом музее юный Антиной, воспитаный нашей Ахматовой, будет поражать молодой аттической красотой, умиравшие молодыми патрицианки будут покоиться в белых мраморах саркофагах со своими беломраморными болонками, философы в каменном ветре складок своих плащей хранить порыв мысли.

Но центром собрания будет бережно охраняемый прекрасный нумизматический отдел, лучше всего свидетельствующий о кипящей здесь вселенской торговле всех веков и империй. Перед каждой витриной мнился бедный пушкинский Скупой. Это был настоящий пир скупости, алчности, расточительности, жадной денежной поэзии («Какой волшебный блеск!»). И почему-то именно тут вспоминается самое короткое из обращений Откровения: «Знаю твои дела и нищету (впрочем ты богат) (Откр. II, 9). Наверное, из-за провокационного сопоставления нищеты и богатства, которые в духовном смысле часто меняются местами.

Игнатий Богоносец нашел здесь по пути в Рим самый сердечный прием. Сюда к нему съезжались эфесяне, магнезийцы, траллийцы. Здесь он будет возражать докетам, считавшим человеческую природу Христа призрачной («Сами они призраки, которые теряют жизнь в прениях и не став еще людьми, норовят стать богами»). Но более всего он видно был рад молодому епископу Поликарпу, так нежно любимому

своей паствой, что ему и обувь не позволяли снимать самому, предупреждая малейшее его желание, что не мешало ему жить самой горячей и искренней верой, как будто мимо всякой внешней жизни.

Его ученик Ириней Лионский, один из отцов церкви, тоже родом из Смирны, оставил потом чудесный портрет Поликарпа, описав как он обычно во время беседы ходил взад и вперед (ведь он знал апостола Иоанна и через него видел Слово Жизни, это счастливое воспоминание не давало ему усидеть). И как он вскрикивал и затыкал уши, когда ему говорили о гностиках: «Боже, и ты сохранил меня, чтобы я слышал это!» – и бежал от места, где услышал противное Богу. Удивительно живо! И то, что он был горяч в порывах, но не в рассуждении, и что любил цитировать своего земляка Гомера.

Как это отлично от нашего академического богословия и учительства! Как подлинно и всегда юношески живо. Как и Игнатий, он носил Бога в себе, и эта богоносность и давала им убедительность и силу любви, с которой они торопились не осудить противника, а принять его в свое сердце и именно любовью привести к Богу. Игнатий Богоносец казнен при «милосердном» Траяне.

Поликарп возведен на костер при Марке Аврелии. Его казнили как «безбожника». Народ торопливо с жадным нетерпением собрал дрова и хворост («Это он учит не приносить жертвы и не кланяется богам. Смерть безбожнику!»). Люди были уверены, что делали «святое дело» – спасали свою веру. Огонь взнялся корабельным парусом. Святой в середине был недвижим, и лицо его сияло любовью, и, может быть, в последнее мгновение он вспомнил укрепляющее слово апостола Иоанна из послания ангелу Смирнской церкви: «Будь верен до смерти».

Где это было? Где казнили 12 филиладельфийцев и юного Германика – а их казнили здесь? От театра не осталось и следа – землетрясения, войны, переселение народов. От величия древнего города – тоже. Жадная Новая Европа смела все. Только Агора в центре вновь подняла десяток прежде поверженных колонн и открыла сбереженное землей чрево подземной жизни – циклопических водопроводов и стоков. Вода и сейчас мерно течет в царственных арках. Каменные львы с отбитыми лапами напрасно грозят зевакам. Безглазая Деметра равнодушно провожает садящееся солнце. Такой же безглазой видел ее Поликарп и так же, очевидно, пели тогда в капителях скворцы, готовясь лететь домой к земле, которая еще не знала, что она – Русь.

И теперь я гляжу на этих скворцов дома и вспоминаю Смирну – горячий закатный водопад черепицы с гор к морю, строй колонн на опустошенной агоре. И двух великих отцов церкви, исповедников и мучеников, которые из святцев вернулись в живую горячую реальность и стали близки сердцу, как близки

родные, много определившие в душе люди.

Когда выбрались из города, уже пошли зажигаться по предгорным деревьям огни. Когда еще нет настоящей тьмы и небо еще удерживает последний свет скрывающегося солнца, эти огни особенно уютны. И почему-то все вспоминаются толстовские «Казачи», покойные вечера станиц и чудится, что там по-прежнему городские Оленины завидуют деревенским Лукашкам и Ерошкам, их природной простоте и здоровью, их вечной, не знающей времени жизни.

А в цивилизацию возвращает бесконечный сверкающий туннель в горах по дороге в Дидиму – река огней, машин грозное мертвое фантастическое течение, как в увертюре «Соляриса» Тарковского и короткий укол ужаса – если на минуту в этой каменной ночи погасят свет. И под звезды вылетаешь с радостным вздохом: слава тебе, Господи!

Между небом и землей

День заботливо свел три города, где античная культура была памятливей христианской, и в этом крылся урок, словно что-то важное не было додуманно, а понять это было необходимо. Я уже задевал эту



Дидима

мысль: почему пала такая великая, властная, украшающая человечество культура, почему эти прекрасные, гордые камни после Рождества Христова уже не питали полководцев, императоров, мудрецов и героев. Ответы истории понятны. Над ними не зря бились Моммзен, Гиббон, Тойнби. А ответа просит своя «частная» душа. Легко отвечать по учебнику. Труднее, когда видишь перед собой руины таких храмов, до которых чело-

вечество уже не поднимется. Дело рук таких мастеров, которые могут быть вскормлены только великим духом и небесным пониманием красоты, совершенство такой подлинности, на которое, кажется, не могут поднять руку никакая злая мысль и воля.

В Дидимах встанет в центре города храм Аполлона. Глаз уже как будто приученный Ассосом, акрополем Пергама, сардийской Артемидой не должен был бы удивляться: колонной больше, колонной меньше. А потрясенный ум молкнет и даже на минуты испытывает неприязнь к неисчерпаемости величия, как будто просит пощады.

Вот и тут только внутренне вскрикнешь, когда колонны не соединят, а раздавят небо и землю и у тебя отяжелеют глаза перед этой необъятностью. И ты не в силах охватить все разом: могучую поступь колонн, слепую тяжесть стен, мрачную пустыню внутреннего двора, которую не украсит и нежный летучий, как арфа, портик малого храма местного, подстать дельфийскому, Оракула.

Оракул назовет здесь Александра Македонского сыном Зевса и докажет, что умеет лестно выбить для города деньги на строительство храма поталантливее наших экономических гениев. Оглянешься на

лестницу, по которой только что сошел в этот Аид и Тартар (одни эти пугающие слова немного передают эту гнетущую силу) и побоишься, что не взойдешь обратно – так неуклонно она низвергается вниз, в одну сторону. Человеческий голос тут неуместен – только оракул и небо! Нечаянно вспомнишь Сардийскую Артемиду и улыбнешься – девочка она перед этим чудовищем. И сами Горгоны Медузы, некогда пугающие с фризов тяжестью взглядов и змеиным клубком кудрей, после мрака двора круглощеки и безобидны, и ужас их детски театрален. И крылатые Зевсовы быки в капителях легки как бабочки.

На минуту бы воскресить все это в прежнем единстве и, наверное, многое понял бы скорее, но нынешние картинки реконструкций не передают масштаба и обессилевают воображение. «Наш» малый греческий храм стоит через дорогу. Он побелен и уже не помнит своей византийской генетики. Его давно сделали мечетью и вместо креста на куполе цветет злой цветок четырех рупоров, скликающих к намазу. Поневолу отведешь глаза и постарайся лучше дослушать державную речь Аполлона, дочитать слово Великого Александра, получше вслушаться в не дающий покоя вопрос о причинах гибели великой культуры, пока дорога не выведет тебя к Милету.

То там, то тут промаячат руины арок, терм Фаустины, гимнасия (зрение уже привыкло различать их), христианской базилики и агоры, а потом почти внезапно вознесется у дороги крылатый театр, закрывающий полнеба. Скамьи на львиных лапах пойдут спускаться с поднебесья к орхестре, закипят во фризах битвы гладиаторов со львами и купидонов с вепрями (хотя, казалось, этой голопузой купидонной публике пристало пускать стрелы только в сердца влюбленных, но вот поди ты – тут они при вполне мужском деле), раскроются в проходах гигантские арки в которые можно въехать квадригой и за ними засияет небо, дальние поля, почти угадываемое далеко ушедшее от этих стен Эгейское море, оставившее близкие вешние воды, которые сейчас не дают подступиться ни к термам, ни к гимнасию – всюду слепит вода. Болото под стенами театра гремит лягушачьими хорами. Зеленые, золотоглазые принцессы напрасно ждут стрелы русских Иванушек. Камни черепах бьются в траве с роговым, гулким стуком. И тут нет мира. Выглянет змеиная голова, увидит противницу, спрячется и р-раз! ее в бок. Романы, турниры, весна, дамы!

Поднимешься по ступеням – ветер свистит, солнце ликует. Чаша театра дышит нагретым камнем, властью и силой. Не расчет, а музыка сфер! Здешние архитекторы ставили лучше здания Малой Азии. Этот Милет рассчитывал Гипподам. Последним всплывет в хрониках милетец Исидор, строивший для Юстиниана Константинопольскую Софию.

Этот прекрасный город расчета и мысли может растерять имена своих гениев, но пока обнимает небо хотя бы один этот театр, будет ясно, что здесь думали о гармонии мира достойные умы. Да и забудешь ли, если на этих скамьях сидели и эти сражения фризов и тех, кто бился здесь вживе, видели Фалес Милетский, полагавший первоэлементом мира воду, а возражали ему земляки Анакисмен, утверждавший началом мирового вещества воздух, и Анаксимандр, считавший, что это непостижимый апейрон. Трое на одной скамье! Поневолу поймешь, почему у этих

скамей львиные лапы! И поневоле восхитишься качеством мысли, ее напряжением и глубиной, если сегодня все три мыслителя со скамьи милетского театра никуда не делись из истории философии.

И вряд ли миновал эти скамьи апостол Павел. Он уходил отсюда кораблем в Тир, потом в Иерусалим, чтобы не заворачивать в Эфес, боясь задержаться в пути из-за привязанности к этому городу и своим ученикам. Он позвал эфесян сюда, чтобы проститься с ними перед отъездом, потому что знал, что после этой миссии ему уже не вернуться, и торопился предупредить молодых христиан о бодрствовании, ибо знал, что после его смерти придут волки ересей и расхитят стадо.

Он уже видел наступление искушающего знания, которое не будет знать осмотрительности, потому что не будет защищено откровением. Где-где, а в Милете эту жадность познания ведали лучше других и, может быть, именно поэтому апостол и избрал этот город для своего прощания с родной Азией, для которой он сделал так много. Он завещал ученикам волю к Истине и напоминал, что не связанная с напряжением духа, она подменяется волей к власти и пустым тщеславию. Он оставлял здесь своего больного спутника Трофима и уходил навсегда. Апостол и его друг и спутник Лука в «Деяниях» пишет о слезах и сиротстве остающихся, и его слова хранят живую горечь прощания. Эта человеческая нота и слезы с этих львиных ступеней, этой орлиной красоты покажутся непростительной слабостью и явным противоречием – львиный камень не принимает слез.

Здесь место «шлемоблещущим и пышнопоножным» героям и «высокоумным и громковещанным» мудрецам и прорицателям, «прекрасноланитым» девам и «лепоподобным» женам. А уж если слезы, то о слезах Клитемнестры и Медеи, и если мысли, то о перво-веществе мира, а не о человеческой боли. Здесь живут «в жанре», а не в жизни.

Мысль о причинах гибели этой высоты не делается яснее, но, как в детской игре подходит ближе – «теплее, теплее», – пока разом вдруг не откроется, что трещина, расколовшая великие стены акрополей и коллизеев, поднебесных аполлонов и артемид была проточена именно любовью, молитвой и слезами апостолов. Великие, ставленные на века святилища не могли пасть сами по себе. Кажется, об ответе догадался еще Юлиан Отступник, увидев, что его дело не торопится торжествовать, хотя он звал народ к радости веселого язычества на месте печального христианства. Он догадался о силе и правде бедности, которая побеждает величавые замыслы. Люди еще строили храмы до небес, но после Христа они уже не чувствовали их своими. Это уже были чужие боги и чужое величие. Когда Христос возвратил бедности достоинство, дни этих храмов были сочтены. Они пали именно жертвой своего величия. Их подавляющая красота подавляла не метафорически. Ты все время чувствуешь себя в них слишком маленьким, уязвленным этим величием, тебе все время хочется разогнуться. И когда появляется возможность «отомстить» им за свою долгую малость, они сносятся без сожаления.

Это особенно подчеркнется в третьем городе этого дня – лабораторно-чистой Приенне, построенной тем же милетским Гипподамом. Город тоже, как

Милет, некогда стоял у моря, но река Меандр в теплых веках нанесла ила и медленно вытеснила город на вершину горы. Так объясняет история. А сердце видит другое. Эти гордые акрополи, эти выше птиц поднимающиеся храмы, как здешняя строгая красота Артемиды, уходят не от моря. Они уходят друг от друга, разделяя пространство для власти. Здесь замыкается гордое недоверие к соседнему акрополю. Здешний государь вцепляется в львиные подлокотники каменных кресел не для того, чтобы разделить радость представления с царственным соседом. Его пурпур горит на солнце для своих сограждан. В его строгом каменном бульварии (зале Сената) принимаются свои законы.

Приенна на редкость компактна, строена вся разом и оттого целостна и чиста, будто вырезана из скалы одной великой рукой. И, странно сказать, от этого особенно бесчеловечна, как голая мысль, как прекрасное надгробие, куда можно приходиться для поклонения, но где нельзя жить. Это каменный закон, а не город. И даже византийская базилика рядом с театром не доносит эха молитвы.

Путеводители не помнят ее имени – «главная церковь» и все. Они легче управляются с храмами Афины, Кибелы, Деметры, которым гордая Греция на всякий случай молится всем сразу, про себя читая их одним именем Афины-кибелы-деметры (как римляне Гелиосу-Митре и Зевсу-Серапису).

Византийская церковь Приенны уходит в землю анонимной, как будто она не успела пустить здесь корни, как будто только продолжила, а не преодолела языческую молитву. Во всяком случае, в сознании строителей очевидно так, потому что у церкви общая стена с большими термами, а у часовни с бульварием, как дом епископа соседствует с гимнасием, а гимнасий с некрополем. И это не потому, что каменная теснота принуждает экономить пространство, а потому, что сознание жителей Приенны еще дитя римского права, а не христианской свободы. Земля в душе перетягивает небо, и плоть еще подавляет душу. Христианское предание обходит этот прекрасный каменный заповедник молча, не прославив ни мыслью, ни страданием.

И вот теперь все только добыча ветра, театрально садящегося солнца и тяжелых, таких же каменных ящериц. Город прекрасный, как приговор, как статья римского кодекса. Его можно избирать в гимны и гербы, как вершину упадка. Эти каменные «чертежи» должны быть унесены временем, когда человек однажды проснется не гражданином полиса, не частью фаланги и когорты, а простым человеком перед лицом одиночества и смерти.

Гражданин империи может гордиться великими храмами зевсов и афин, мощными крепостями и роскошными театрами, блестящими ипподромами и торговыми агорами, но они не его. Они не проросли в сердце и, когда на смену блестящей имперской вечности придет частное время, они не утешат его в печали и не укрепят в сомнении. Они могут вызвать слезы восхищения, но не разделят слез страдания. Они – часть речи, а человек – дитя Слова. Надо было пройти эту гордую, прекрасную дорогу истории, чтобы понять это и теперь навсегда выбрать дорогу бесконечного неба.

В конце этого дня, как золотая точка в мысли,

мелькнул неожиданно яркий символ. К дороге вышла древняя Магнезия. Мы, опять демократически минув давно закрытые на ночь ворота, вошли в город и на фоне еще светлого, еще не побежденного уже пробивающейся вечерней звездой неба, увидели чудную капитель колонны. Там мраморный человек, который некогда был придавлен архитравом и в истошающем напряжении нес его на себе, теперь, лишенный этой тяжести, летел в небеса к этой пробивающейся звезде, и полет его был легок и стремителен... Он преодолел закон земного притяжения империи и узнал непобедимую христову свободу. Теперь его было не остановить.

По правде, по истине

Как следует мы увидели эту Магнезию утром. Меандр, уже загнавший своим коварным течением полтора тысячелетия назад на гору бедную Приенну, теперь теснил и старую Магнезию. Колонны и гробницы отражались в утренней чистой воде, лягушки пели свою неутраченную песню, заглушая машины на недалекой дороге. Ангел капители летел в сияние начинающегося дня и две тысячи лет не делали его старше. Вероятно, он слышал еще проповедь апостола от семидесяти Кодрата, собиравшего церковь «рассеянную страхом» преследования и писавшего в защиту христиан самому Адриану. О чем он писал императору, можно понять по сохранившемуся посланию апостола к язычнику Диогнету: «Христиане не отличаются от других людей ни местом происхождения и жительства, ни языком, ни жизнью гражданской. Живут во плоти, но не для плоти, повинуются законам, но жизнью стоят выше законов. Их не знают, но обвиняют; убивают их, но они живы; бедны, но обогащают других, ничего не имеют, но всем довольны».

Ответ был императорский. Апостола заключили в темницу и уморили голодом. Его мощи покоились здесь и можно только поклониться земле, скрывшей его, но не забывшей его слова.

Отсюда уходили в Троаду проститься с Игнатием Богоносцем епископ Дамас с двумя священниками и дьяконом. Наслушаться, укрепиться. Книг еще мало и учение растет живым словом и в этой живости оно особенно подлинно и хранит прямое христово эхо. И потому уходящие в землю и воду тысячелетние камни Магнезии таинственно берегут силу веры тех «кого убивают, а они живы, ничего не имеют, а всем довольны». И я понимаю. Почему у меня как-то естественно выпала из памяти вчерашняя Гераклея, которую мы навестили после Милета. Мысль кружилась вокруг другого и пропускала «ненужное», чтобы сейчас вспомниться во всей яркости.

Гераклея, в сущности, «республика островная» – все храмы и монастыри с великими фресками, сбереженными водой и отдаленностью, укрывались от мира там, но и собственно Гераклея на берегу не сильнее даже, а ультрамаринового озера Бафа не забыла ранней истории. Дорога летит вдоль озера, и озеро поворачивается так и этак, как перед зеркалом, зная, что на него нельзя налюбоваться. Маленькие оливковые рощи, загороженные от ветров скалами, тихи и покойны. Позвякивают бубенцами козы и редкие коровы без всяких пастухов – некуда им уйти – и не знают, что пасутся в раю. Скалы все выше, камни чудовищнее. Двух и трехэтажные глыбы брошены ле-

нивой рукой Самсона или Геракла – такая в них человеческая осмысленность. А сама Гераклея уже больше село, чем городок. Тесно, пыльно, жарко. Овечьи загонны опять сложены из чудесных архитравов гробниц и колонн храма, от которого высится на мысу один мертвый оств. И сердце досадует, что можно бы сохранить его получше, ведь здесь был епископом Акила, ученик и товарищ апостола Павла по Эфесу, где он так много делал для христианства и, вероятно, не меньше делал здесь.

Мужчины на площади попивают чай, женщины в поле, старухи ловят чужого человека, предлагая бедное рукоделие. Одна отправляет с нами крошечного внука, и он ловко ведет нас среди ора петухов, крика ослов, блеяния овец и горячего полдня к почти ушедшему в землю театру.

Ступени едва видны и по ним без труда прыгают овцы. Можно было не искать его, когда бы не знать, что здесь при стечении жителей Гераклеи игемон Помпиан, представляющий императора Домициана, пытал ученицу апостола Акилы христианку Севастиану. Ее строгали черепицей, чтобы потом бросить львам. Вот здесь – в сиянии солнца, в раю, где пасутся овцы, и смеется, глядя на осла, мальчик. О ней никто здесь не помнит, но душа ее тут («их убивают, а они живы...»). И бог с ним, с театром, пусть зарастает скорее.

Но городок не беспамятен. Мы встречаемся здесь в маленьком кафе у агоры с добрым самодеятельным археологом, который понял, чего ищет здесь душа заезжего европейца. Даже по оформлению его кафе мы видим, что земля Гераклеи еще хранит настоящие сокровища. А когда он приносит альбом фотографий, снятых им в окрестностях, мы только вздыхаем, что нет у нас ни катера, ни долгих дней впереди, чтобы увидеть все эти острова, монастыри и храмы, сохранившие фрески, которые соперничают с фресками Каппадокии и Равенны, с фресками Константинополя и мозаиками Софии.

Слава Богу, эта Атлантида не затонула, и озеро заботливо хранит свои сокровища от праздного любопытства и варварской руки богатого туриста, который начертал бы здесь свое сытое имя. Теперь уж и сам этот любящий человек найдет способ оградить это чудо от враждебного вторжения и дойдет еще до фресок рука и душа настоящего хранителя и молитвенника.

А «график-то» после утренней Магнезии зовет нас в Эфес, знакомый до давней первой поездки. Город, основанный амазонками, воспитавший Праксителя и Скопаса, которые составили славу греческой скульптуре, умудривший Гераклита, который, в отличие от милетских коллег, считавших первовеществом мира воду и воздух, называл огонь. Впрочем, тут только открой путеводитель, и сойдутся сардийский Крез и Александр Великий, Нерон и Траян, чудо света Ар-

темида Эфесская и обязательный со второго века Серапис, библиотеки и бани, фонтаны и театры. Но мы ехали не за этим.

Нам снова надо было поклониться дому Девы Марии. По преданию она провела здесь несколько лет под опекой апостола Иоанна и здесь и умерла, хотя из жития Девы Марии никак этого не следует. Ни жизни ее, ни тем более смерти, которая совершится в Иерусалиме и соберет апостолов, чтобы они могли свидетельствовать о чуде ее воскресения.

Как рождается предание? Как, вопреки истории и актам собора, является в Никее святитель Николай? Как появляется в Эфесе Дева Мария? Деливший с нами дорогу своим «Хазарским словарем» Милорад Павич без улыбки пишет об одном из монастырских переписчиков, который в молитве очищает рот от чужих слов, пока у него не появляются свои, сначала зеленые и горькие, потом спелые. И тогда однажды он чувствует вдохновение и добавляет несколько слов к житию,

которое переписывает, и скоро замечает, что его вариант для братии дороже и учительнее оригинала. Переписчик, как иконописец – послушник не безупречный. Художник в нем иногда просит своего слова. И если это не своеволие, а Господне прозрение, он радостен Богу более прямого следования прежней правде. Он не сохранил, он преумножил данный ему талант

Предание помнило Христово обращение с креста к апостолу Иоанну – «Се мать твоя» и, когда находило его в Эфесе, уже не могло представить его там без порученной ему Спасителем Богородицы. И когда неграмотная немецкая протестантка, никогда не покидавшая своего городка, однажды увидела сон об этом доме в далекой стране и о могиле Богоматери, археологи не поленились проверить этот сон и скоро нашли дом, хотя пока не нашли могилы.

Предание человечнее и вернее истории. Оно поверяется не ею, а любящим сердцем. Дом Девы Марии стоит, итальянские монахи молятся в нем, греческие, коптские и русские иконы и молитва Богоматери приносят здесь исцеления, о чем свидетельствуют несчетные благодарные знаки под иконами и особенно трогательные детские пинетки, оставленные счастливой матерью в благодарность за чудо с ее ребенком. Вода колодца Девы Марии поит и врачует. И как теперь быть с житием, в котором нет эфесской главы?

И житие апостола Иоанна тоже отправляет его в Эфес только после иерусалимской кончины Девы Марии. Но здесь они уже неразлучимы. Он прожил здесь долгую жизнь и сложил великую Церковь.

При Нероне он был увезен в Рим, принял страдание, сослан на остров Патмос, но когда писал на Патмосе свое Откровение, уже хорошо знал состояние окрестных церквей. Значит, прожил и до ссылки достаточно долго и интенсивно. Хотя о его прямой проповеди и учительстве документов нет, словно он



В Эфесе

только писал и свидетельствовал одним молчаливым письменным словом. Но при этом был так прям и искренен, что проявлял свою веру тотчас и без оглядки, и, увидев, скажем, еретика Керинфа в бане, немедленно выходил из нее, чтобы не быть погребенным за нечестие этого человека. Впрочем, тут от путеводителя немудрено уйти к пересказу жития. А важно-то, что держит в Эфесе, что зовет христианское сердце.

Высоко над городом, над единственной, оставшейся от великой Артемиды колонной, с которой мирное семейство аистов глядит, как рядом трепещет запущенный ребятами змей, возносится храм Иоанна, ставленный благодарным Юстинианом. Прочитать его план без подсказки реконструкции трудно – так он был огромен, сложен, живописен. Но сердцу как-то и не до архитектурной тонкости, потому что в страже четырех колонн, как в кивории над престолом, здесь покоится сам апостол. Ты уже знаешь из Жития, что тела его здесь нет, что по преданию любимый ученик Христов был взят живым на небо, но оно было здесь, на этом клочке земли под стражей колонн. Великое сердце устало билось и умокло здесь, чтобы до конца времен не смолкало Слово, которое было вначале и было Бог. Надо быть мертвым, чтобы не опуститься на колени и не поцеловать эти камни.

Бог любил эфесскую церковь за этого великого апостола и за апостола Павла, три года учившего здесь с пламенем, который порой вызывал вполне южную реакцию кормившихся при храме Артемиды ремесленников, у которых он отнимал хлеб, мешая им тиражировать идолов. Бог любил эту церковь за апостола Акилу и за апостола Луку, который и писал здесь иконы Девы Марии, еще раз укрепляя нас в правоте предания. И она благословляла эти изображения, расходящиеся по миру.

Вот и могила апостола Луки странствует по воле переписчиков. По житию она значится в египетских Фивах, а по здешнему преданию вот здесь – через дорогу от входа в музейную часть города в мавзолее, стоящем чуть на особицу. И одна из колонн мавзолея подтверждает это изображением креста с тельцом под ним (а ведь телец – это символ апостола Луки).

Двух этих могил было бы довольно, чтобы сердце рвалось сюда, к городу, освященному именами авторов двух Евангелий. Но здесь в соседстве с городом, по свидетельству одного из самых ранних русских паломников игумена Даниила (XII век), покоится прах трехсот святых отцов и святая Мария Магдалина, и ученик и соратник Павла апостол Тимофей, который, как и его учитель, любил этот прекрасный город.

Они лежат (лежали) в одном месте, известном сейчас, как «пещера Семи отроков эфесских». Игумен Даниил утверждает, что еще видел мощи юношей здесь. Теперь там только стены и пустые гробницы, которым нет числа. Над первой пещерой встал второй пещерный храм, но и его гробницы пусты. Человеческая жадность не страшится мертвых.

Когда мы выходили, два турка благочестиво «омывали» бороды перед пещерой, и я увидел, что табличка над входом поминает 18-ю суру Корана. Дома заглянул. Сура так и называется «Пещера» и утверждает, что отроки проспали «триста лет и еще девять». По игумену Даниилу 360, а по житию – двести. Они спрятались здесь от преследователей императора Декия

(250 г.) и были завалены заживо, а откопаны случайно, когда крестьяне брали камень для стройки, при Феодосии младшем (умер в 450-м). Их воскресение было кратко, но это было воскресение. И история запомнила эфесских юношей, подтвердивших главное упование христианства.

И как забыть, что это был город двух соборов, первый из которых (431) против Нестория, пламенного борца с еретиками, павшего под тем же обвинением, был так мучителен, что насилие сложил свой итоговый документ, а другой (449) вообще назван «разбойничьим». Объяснить их существование в двух словах (а они оба были по существу об одном – о монофизитстве) для светского слуха невозможно из-за тонкости предмета. Вот для примера этой тонкости два абзаца из работы церковного историка А.В. Карташева «Вселенские соборы»: «Монофизиты считали, что они верно истолковывают Кирилла Александрийского, когда, следуя ему, утверждают, что во Христе после соединения остается только одно естество, то есть одна ипостась, одно лицо.

Дифизиты (православные), считая, что они верно истолковывают Кирилла, утверждали, что после соединения в Иисусе Христе – две природы, одна ипостась, одно лицо».

Разведите это для себя. И когда советский писатель П. Павленко с улыбкой пишет о Константинопольском ипподроме, что «здесь милые монашеские старики спорили об ипостасях и драками решали каноны восточной церкви», он не понимает, что улыбаться тут нечему. Речь в этих спорах шла о спасении души и, как писал тот же Карташев, под внешне миллиметровыми различиями лежала живая мука души, терзаемой исканием истины не только умом, но и всем сердцем.

Смею думать, что это было эхо Павлова пламени, Иоанновой высоты Слова и завещанного Лукой внимания к существу веры. Это было свойственное именно Эфесу напряжение духа. И я думаю, когда бы мы сходились в этом городе не с открытыми от восхищения красотой его мраморов ртами, а с отверзтым для Христова имени слухом и хоть на краткое мгновение посреди многоязычных экскурсий призывали к духовному бодрствованию и молитве, мир развивался бы вернее, чем он развивается и церкви мира стояли бы не памятниками культуры, а школой истины и бесконечного неба.

Прежде, чем уехать, мы взяли последний урок у аистов на Центральной площади города. Площадь закипала предвыборным митингом. Гремела музыка, плескались тысячи флагов, мегафоны кричали на все стороны света, охранники цепко ощупывали глазами толпу, оберегая своих кандидатов, машины гудели все сразу, норовя проехать во все стороны через самое варево толпы. Ад! А они на прекрасной, стройно переходящей площади аркаде, на каждом столбе по семье спокойно и ровно жили своей неспешной, ни на одно движение не ускоряемой жизнью, потому что их временем были природа и вечность. Мы с завистью улыбнулись их достоинству, пригласили в Россию («не пора ли, мол, к нам?»), но сами все-таки были дети беспокойной улицы и торопились засветло попасть в Кизик на берегу уже другого – Мраморного – моря. А уж какое засветло? Опять во всю горела ночь, когда мы добрались до отеля с египетским именем Асуан.

Рожденные в Евангелии

Город нов и беден. Из древностей мы увидели едва один мощный фундамент храма Траяна, который когда-то соперничал за право зваться «чудом света». Но археологический музей Кизика обнаруживает замечательные богатства. Его изящные мраморные сюжеты, взятые, вероятно, из роскошных домов траяновых времен, позволяют вспомнить о византийских женщинах, которые начинали биографии в неге и роскоши, пирах и праздных беседах. А заканчивали, как собеседница Иоанна Златоуста дьяконисса Олимпиада, по одному из преданий окончившая дни как раз здесь, в Кизике, игуменьей малого монастыря, не слыша злой клеветы этого пышного рода. Иоанн писал ей: «Ты умешь и в больших и многолюдных городах жить как бы в пустынях, будучи предана тишине и спокойствию, поправ житейскую мишуру». Он знал, как клеветают на нее прежние подруги, оставшиеся в дворцовых покоях, и их сановные «друзья», но знал и то, что в ее «женском теле, более слабом, чем паутина, достаточно сил, чтобы со смехом встречать суд и бешенство сытых мужей».

В музее нельзя снимать – он едва открыт и еще не обнародовал своих сокровищ в печати. И я жалею, что хоть на фотографии нельзя унести одну из крылатых фигур, которая кажется мне прекрасным символом духовного полета византийских дьяконисс, возбуждающих в сегодняшних молодых женщинах желание благородного соперничества и заставляющих их искать воскресения этого забытого женского церковного института.

И как было не вспомнить девять мучеников кизических, обезглавленных здесь за Христово имя в третьем веке и в 1687 году вышедших на Русь, когда они избавили Казань от горячки и были почтены храмом, который свято хранил уже из турецкой земли привезенные мощи.

К останкам Полихрониева монастыря мы добираемся в полдень. Это уже подлинно останки, последние «косточки». Дачные коттеджи вокруг равнодушно, если не враждебно глядят на затянутый злыми кустами, почти потерявший очертания остов храма. Они бы уже прибрали эту землю к рукам, да, слава Богу, пока не решаются. Плакия (так символически для нашего слуха зовется этот дачный поселок) беспамятна поневоле. Жители приехали сюда при переселении народов в 1923 году, когда ее «чистили» от греков, отправляя их «на родину», в которой они никогда не жили, и привозя сюда из Македонии мусульман, которые никогда не знали этой земли и веры. Мы знаем по сегодняшнему Косову, что происходит с храмами, когда на землю приходит другая вера. Их гонят и мучают, как самих христиан, скармливая злобе и невежеству. Вот и здесь все уже убито, и эти последние камни, если за них не ухватятся хотя бы из туристического расчета, тоже долго не наживут.

А ведь это был монастырь, где игуменствовал святой Мефодий, к которому приезжал сюда, жил и молился здесь и думал о славянской азбуке его великий брат Константин Философ, в иночестве Кирилл. Скорый и острый умом, он с семи лет зачитывался Григорием Богословом и воспитывался вместе с будущим императором Михаилом. Блестящий полемист, он отстаивал свою веру перед мусульманами и хазарами, о чем написаны умные книги от житийно-богослов-

ских до щегольски-постмодернистских.

Он учил и в нашем Херсонесе, где через столетие примет крещение князь Владимир и примет именно потому, что теперь Христу можно было молиться на родном языке, что Кирилл и Мефодий победили «пилатников». Ведь мир до этого молился только на трех языках – тех, на которых была сделана обвинительная надпись на кресте Спасителя мира – на иудейском, греческом и латинском. Но ведь он был спасителем мира, и славяне искали спасения не менее остальных народов. Они и обратились к Михаилу с просьбой об изложении им Христовой веры. Когда император послал Кирилла с этой миссией, тот спросил: есть ли у них азбука? И когда узнал, что нет, сказал со смущением, что учить без азбуки все равно, что писать на воде.

Вот тут-то и началась его борьба с «пилатниками» и Римом, который уходил все дальше от единства и плохо слышал Кириллово увещание: «Что добро и что красно, во еже жити братии вкупе?». Борьба была мучительна и могла кончиться поражением, если бы не прежние заслуги Кирилла и Мефодия перед церковью и если бы римский папа Адриан не решился отслужить первую славянскую литургию в храме святого апостола Павла сам. Когда Кирилл в 869 году на 42-м году жизни умер в Риме, Мефодий намеревался, исполняя волю матери, завещавшей, что кто умрет первый, пусть возьмет брата в свой монастырь, привезти Кирилла сюда, в близкий его сердцу Полихрониев монастырь. И уже готовы были повозка и корабль, но папа сумел настоять, что бы Кирилла похоронили в Риме в храме святого Климента, чьи мощи Кирилл некогда обрел в Херсонесе и привез в Рим.

До нашего крещения было еще сто лет, но азбука уже ждала нас, уже ждали славянские Евангелие и Псалтырь. Ждали служебные книги, чтобы мы, в отличие от других народов, начали свою письменную жизнь сразу с Христова слова («Такого не было нигде возникновенья / Науки в вере! Азбука выросла / У нас в дыхании церковного тепла / В словах Евангеля принав свое рожденье» – К. Случевский).

Мы становились народом у источника Богопознания, «из него же, как сказано в тропаре Первоучителям, – даже до днесь неоскудно почерпающе». Мы можем замутить этот источник, но вода его останется живой до нашего опаматования, потому что формула ее написана на небесах. Отчего и болит сердце, глядя на погибающую святыню. Пока мы рубили волчцы и тернии, впившиеся в тело церкви, чтобы открыть остатки колонн и не дать земле поглотить святых крестов на этих колоннах, внимательные турки известили местную жандармерию. Мало ли что на уме у этих русских. В жандармерии улыбнулись рвению бдительных жителей Плакии и обещали присмотреть за обителью бережнее. Море еще раз другой выглянуло из-за нескольких поворотов, и дорога ушла в уже привычные поля и все ненаглядные оливковые рощи, чтобы вечеру привести нас к Никейскому озеру – безмолвному, отражающему в своем сверкающем зеркале одинокую лодку с китайским тщательным силуэтом рыбаков на закатном небе, всякую чайку в полете и инверсионный след самолета. И в воде мир казался реальнее, чем на берегах, как левитановский пейзаж бывает правдивее самой природы.

Первый. Последний

А уж в Никею въехали в темноте, так что ее прекрасные стены снимали уже при свете фар, раздвигающем арки и башни, как роскошный занавес средневекового театра. Родная по первой поездке София, подсвеченная и зажата темнотой и теснотой обступивших кварталов, казалась меньше и домашнее, чем была прежде.

И наутро она не выросла, хотя мы начали день не с нее, а с уходящего в озеро мыса, на котором стоял Сенат, потому что уже знали, что Константин Великий сзывал Собор именно в Сенате. Я до некоторого времени полагал, что христиане до Миланского эдикта 313 года, позволившего им выйти из подполья, вообще не строили храмов, потому что гонения не кончились и с Константином, а уж до него были просто непрерывны. Но потом прочитал у нашего церковного историка В.В. Болотова, что «в благоприятную эпоху... христиане начали строить отличавшиеся известным великолепием обширные храмы». 23 февраля 303 года была, в соответствии со старыми хрониками, разрушена землетрясением великолепная никомидийская церковь. А уже на другой день последовал жестокий эдикт Диоклетиана, предписывающий разрушать христианские храмы и отнимать книги. Так что если что и было построено, было обречено.

Но, конечно, и не только поэтому Константин собирал епископов в Сенате. На золотом троне в золоте и камнях одежд, он указывал церкви место в новом христианском государстве, искал единства усилий. Он кланялся высокому уму Афанасия Великого, целовал выколотые глаза мучеников Пафнутия и Потамона, обнимал простеца Спиридона Тримифунтского, оставившего для собора своих овец, демонстративно подчеркивал холодность к Арию и его другу Евсевию Никомидийскому. Еще не предвидя, что на смертном одре примет крещение как раз от этого арианца Евсевия, который не оставит восточной привычки красить волосы и ногти, что ему потом не забудет его молодой воспитанник, племянник Константина Великого император Юлиан.

Император не пожалел казны, приняв на себя все расходы Собора от поставки лошадей для епископов до трехмесячного их проживания в Никее.

Собор выработает Символ веры (до этого он был почти у каждой церкви свой), при этом сам император вставит в него самое главное противарианское слово – «единосущный». Собор определит время празднования Пасхи, которую тоже праздновали всяк по себе – кто всегда 14 нисана, на какой бы день недели это число не приходилось, кто на неделю позже еврейской Пасхи, чтобы не смешивать событий Ветхого и Нового Заветов.

Константин радовался внешнему единству епископов, осудивших Ария за неприятие христового

«единосущия» Отцу. Церковь делалась всеимперской, вселенской. Но Арий не зря был учеником святого мученика Лукиана, чье понимание Христа он и проводил в жизнь, не прибавляя своего и освещая свое вероисповедание, обеляя его кровью учителя-мученика. Его можно было сослать, но нельзя было сослать его богословия, которое казалось более человеческим, ибо не мучило сознания простого христианина непостижимой, невмещаемой реалистическим умом тайны Троицы.

Церковь будет биться с этой ересью еще несколько десятилетий, так что когда Григорий Богослов через пятьдесят лет после Никейского собора возглавит константинопольскую кафедру, ему будет негде служить, ибо и София, и собор Святых апостолов, как и



Храм св. Софии Никей

все другие значительные церкви, будут принадлежать арианам. Так что внешняя вселенскость и имперскость была еще крепостью обманчивой.

От Сената осталась пустая площадь да несколько камней в воде озера и надо все время возгревать воображение, чтобы представить на пустынной набережной это первое великое упражнение в единстве, оставившее нам в завещание

мощное слово «соборность», вокруг которого мы собираемся в трудные дни истории и которое не можем удержать надолго, как не умел удержать своих решений Первый Вселенский Собор.

А уж последний для нас Седьмой Вселенский собор, за которым мы свой счет вселенских соборов остановили, проходил именно в Никейской Софии. Как она вмещала 350 епископов – Бог весть: может быть не все заседания были пленарными. Собор возвращал церкви иконопочитание.

Теперь это трудно представить, но для императора Льва Исавра достаточно было опасного извержения вулкана на Средиземном море в 726 году, чтобы выставить его причиной именно иконопочитание, как форму языческого поклонения идолам. Император писал в Рим папе Григорию II в объяснение начатого им гонения: «Иконы это идолы, запрещенные второй заповедью... Я вынужден сокрушить накопившееся суеверие христианского народа. Я имею на то право, и это мой долг, ибо я царь и иерей». Спустя столетие, когда его будут анафематствовать, он уже будет не «царь и иерей», а «зверь зловредный, демонский слуга, мучитель и гонитель стада Христова».

Западная церковь не уступила икон, а на Востоке Лев и особенно его сын Константин, которого за любовь к лошадям за глаза звали «Лошадником», а то и «Навозником», истребили настоящие сокровища духа. Константин сочинил даже собор (754 г.), унижил епископов вынужденным согласием на гонения и взялся за монахов, которые оказались тверже епископов. В 767 году только в тюрьме константинопольской претории сидели сразу 342 монаха. Им урезали уши и носы, жгли бороды, выкалывали глаза, отсекали руки. Их таскали на веревках по городу, освобождая

учеников школ, чтобы они могли принять участие в глумлении. Не щадили и мощей. Мощи мученицы, Евфимии, о которых мы говорили, были брошены в море и спасены только благочестивыми людьми. В только в оставленном нами Кизике епископ Иоанн был обезглавлен за то, что отказался наступить на иконный лик Богородицы. Патриарха Константина не только заставили отречься от икон, но и принудили пировать в венке, а потом все-таки допрашивали в Софии и после каждого вопроса били по лицу, чтобы в конце концов вытолкать из церкви задом-наперед.

Монашество бежало на запад. Пропать между церквями ширилась. Но тут лучше не оглядываться, чтобы не затмить светлого Никейского дня. Дело исправила невестка Константина, афинянка Ирина, жена его сына Льва. Она пыталась собрать епископов к Константинополю, но пятьдесят лет без икон вырастили два поколения резких противников. Надо было готовить почву терпеливее. И в стороне от «передовой» столицы.

Вот и была избрана Никея с ее гордой памятью о первом Соборе. София, как сегодня, горела на сентябрьском солнце, которое здесь не уступает нашему июлю (Собор открылся 27 сентября 787 года). Собор шел без давнего блеска. Слишком тревожен был вопрос и слишком смущены участники, ведь многие из них сами изгоняли иконы, кто искренне, а кто по долгу, и сейчас стыдились своих седин и переметчивости, когда председательствующий патриарх Тарасий спрашивал с укоризной: «Ну, и как же это ты, батюшка мой, десять лет проепископствовал и только сейчас прозрел?».

При этом Собор был единодушен и этим единодушием устыдил даже твердого противника икон Григория Неокесарийского, который был приведен силой, но тут, видя общую радость иконного воскресения, с искренней радостью принял общую Истину. Икона возвращалась в храм навсегда.

Домостроительство Господне было завершено. Церковь уходила в века сложившейся, непоколебимой, определенной. Хотя, как и в случае с первым Собором, болезнь врачевалась не сразу. Иконоборчество с крепкими ростками еще попробует вернуться и еще даже и Собор 815 года соберет, и доносчики еще будут клеветать на своих противников заведенным порядком, обвиняя в хранении икон и книг. И будут еще и новые мученики. Настоящее Торжество иконы, названное Торжеством Православия делается праздником только с 843 года, чтобы с той поры не прерываться навеки.

Но исток этой победы был здесь, в Никейской Софии, потерявшей сегодня прежнюю царственную осанку, уходящей в землю, как уходит в воды погибающий корабль, но неизменно высящейся в нашем сердце и нашей церковной памяти.

Потом был еще один – Восьмой Вселенский собор, но противоречия православия и западной церкви дошли до такой глубины (в огромной степени и из-за иконоборческих споров), что наша церковь уже не признала его Вселенским и дальше счет Вселенским соборам вела одна Западная церковь. А наша история началась и завершилась здесь, в Никее.

Споры окончены, небесные границы вычерчены в этом городе на берегу тихого озера с еще крепкими стенами, искрошенным, как стариковский рот, театром, пустой площадью на месте первого Собора и

потерявшей крест Софией.

Почему-то я чувствую внезапную усталость, словно она копилась не в десять дней поездки, а в двадцать веков истории церкви. И ищу причины этой усталости.

Как сын церкви, я принимаю ее завершённую здесь историю с должным послушанием. Как сын времени и истории, чувствую смущение, потому что не могу поверить, что далее Господь говорил с каждым народом только на его языке, оставив надежду на вселенскую объединяющую роль церкви, что дальше дорога двух великих церквей, вышедших из одного лона, должна навсегда идти порознь, и церкви, прилюдно называя друг друга сестрами, тайно про себя считают одна другую еретической и не доверяют полноте ее Истины. Они обе принимают тело и кровь Христовы, но каждая считает про себя кровь и тело Христовы у другой церкви не настоящими, и устами своих благочинных по монастырям без церемоний говорит это. Да и можно ли думать иначе, если кровь и тело Христовы, принятые в другой церкви, немедленно поведут к наказанию, а коли священник, то и извержению из сана.

Я знаю, что лучше таких вопросов не задавать, но когда твоя собственная жизнь клонится к закату, Никейское солнце не успокаивает. И голос муэдзина, летящий над Софией, не кажется верным эпилогом завершившейся здесь великой истории. Что-то мучительное есть в том, что храм уже не летит к бесконечному небу, а доживает земной срок. И на время выборов, в которое мы оказываемся здесь, не открывается даже в качестве музея, чтобы не вредить мусульманской душе даже нечаянным вопросом о миновавших веках и родившейся в этих стенах великой правде.

Но в конце концов я благодарю Софию даже и за поселенную в сердце тревогу, потому что премудрость Божия не всегда утешна и не всегда является в блеске победы. Но и в слабости и сомнении она все остается премудростью и голосом Истины. И все кружу, кружу вокруг храма и не могу уйти, хотя сегодня вечером самолет, а надо еще по дороге заехать в Никомидию и, если повезет, поклониться Софии Константинопольской.

«Агнцы посреде волков»

Мы успеем, успеем! И даже в хаосе Никомидии, где весь город рвется нам помочь и не может. Не найти ни следов императорского дворца, ни храмов, которые были здесь в изобилии. Все съело время. И мы кружим, кружим. Не может, не должно исчезнуть все. Хотя бы для того, чтобы мир не смел забыть тысячи никомидийских мучеников. Город ведь был столицей до Константина и епископы его были первенственными.

И мы нашли вполне читаемые руины храма с прекрасным баптистерием и могли поставить свечи, чтобы вспомнить невыносимое.

Последним до перенесения столицы в Константинополь здесь царствовал Диоклетиан. Всех остальных императоров православное сердце может не помнить, но этого знают все – так часто его имя в мученических актах и житиях страстотерпцев. Он царствовал двадцать лет и замучил целое человечество христиан. Напрасно историки надеются оставить его в нашей памяти реформатором, экономистом. Это имя обречено.

В 303 году (за два года до смерти императора) вспыхнул Никомидийский дворец. Причины не обсуждались. Виновные были известны давно и наперед – христиане! И вот тут надо взять свой церковный календарь и не давать воли сердцу перед безумием этого поминального перечисления: мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и проч. (тяжесть этого «и проч.» непередаваема), мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана, священномучеников Ермолая, Ермила и Ермократа Никомидийского, священномученика Анфима Никомидийского и с ним мучеников Феофила, Дорофея, Мардония, Мигдония, Зинова, Домны девы и Евфимия, священномученика Феопомпа Никомидийского и мученика Феона Волхва, и вот это невыносимое: мучеников 1003 Никомидийских и уж совсем недостоупное пониманию: 20 000 в Никомидии в церкви сожженных и прочих, там же, вне церкви пострадавших.

Они были ближе и принимали удар первыми и принимали его достойно.

Эта земля залита кровью. И не потому ли Константин и перенес столицу, что кровь эта проступала на стенах дворца и была несмываема? А здесь оставалось отныне место изгнания, темный город, выковавший сердце Юлиана Отступника.

И город поспешил изжить эту страшную память, постарался стереть следы и обмануть себя неведением. Но руины церкви или старого монастыря с остатками гробниц, где, может быть, почивали мощи мучеников, все стоят в стороне от дороги и от жилья, как, верно, стояли и прежде, молясь за сонм мучеников несчастного города, который в христианском сознании уже не будет знать иной памяти, кроме окровавленной.

Город может отойти от руин и лететь мимо, а мы зажжем свечи и постоим на коленях и поблагодарим этот огненный столп Господних свидетелей, который были основанием нашей веры, трагической школой, подтверждавшей, что христиане посланы «яко агнцы посреде волков». Никомидийская страница больше других, но она только страница в томосе мучеников Малой Азии, чей список открывали апостолы, возбуждая ненависть кесарей, которым всегда было мало только кесарева и хотелось Божьего, пока счет не переходил на тысячи и кровь не гасила костров, отрезвляя и самое жестокое сердце. Навсегда ли?

Когда глядишь в нашем последнем церковном календаре никомидийские страницы, поневоле бежишь глазами по другим строкам. И скоро открываешь, что это печальное и гордое «соревнование» исповедников может выиграть только Россия 20–30-х гг. чья армия мучеников обойдет Диоклетианову, ибо христианство, как в первые века, молодо и опасно для мертвых идей и по-прежнему готово к кресту и страданию.

Там, в бесконечном небе, они вместе – никомидийские, фиатирские, алапаевские, екатеринбургские... Наверное, сердце догадалось об этом раньше ума и догадалось там, на бедных руинах, почему и вглядывалось в эту землю не туристским взглядом, а болело своими вопросами домашней тревогой.

Аустерлицкое небо

Мы успели и в Софию! Успели увидеть напоследок золотое сияние, приглашенное пылью веков и оттого еще более благородное. Успели подойти под взгляд Богородицы и благословляющую руку Богомладенца. Проститься с отцами нашей церкви, глядящими со сводов галереи, и обрадоваться смирению императоров Константина и Юстиниана, слагающих к Престолу Господню град и храм, как единственно спасительное соборное согласие, как вечную мечту выхваченного Спасителем из ада человечества, как дорогое указание еще предстоящего нам пути в Истине и жизни.

...Опять садилось солнце и вся площадь между Софией и Голубой мечетью была по-кустодиевски провинциальна и опять вызывала в памяти Кострому или даже какой-нибудь Солигалич. Семьи пили чай на траве, играли дети, сладостная восточная музыка плакала в окружающих площадь кафе, старики на скамейках обсуждали проблемы мира, как другие старики где-нибудь на площади Испании в Риме, деревенские старики французской Бретани, немецкого Бремена или вечерней Рязани. Им легко было сойтись в этот час под одним вечным небом с лампадой вечерней звезды. Как весело было бы затаптывать государственные границы и бегающим и детям.

Что так потрясло князя Андрея в Аустерлицком небе? Толстой не стал развивать свою великую мысль. Каждый увидит за ней свое. Я ложусь с турецкими детьми на траву и смотрю в этот наливающийся глубокой синевой полог между Софией и мечетью. И думаю вместе с князем Андреем, что подлинно «все обман и все пустое перед этим небом», потому что в нем нет границ. И оно все ждет, когда мы поднимем глаза от нищенского кошелька или банковских счетов, от карт Генеральных штабов и газетных листов и увидим, что мы прошли горизонтальную человеческую историю и уже давно, как ван-гоговские узники, топчемся по кругу.

Дорога ведет вниз, если она не идет вверх. Ровного пути уже не будет. Он не ведет, а кружит в потреблении или вражде, в основе которой в конце концов тоже потребление и желание пожить по своей воле, как в разбежавшихся славянских народах, продолжающих звать себя христианами.

История церкви, хотя бы в таком, как в нашей поездке, беглом туристском переводе, учит мужеству и честности перед Истиной. Когда дух предпочитает самообманной покоем Истине, он неизбежно терпит поражение и несет ответственность за ослабление доверившегося человека.

Нам еще не хватает простоты сердца, чтобы говорить на языке покойного вечера. Но небо терпеливо и оно ждет. И вдруг я с удивлением отмечаю, что опять вертятся на языке слова отца Сергия Булгакова, которыми я заканчивал рассказ о первой поездке: «Зовут. Пора идти».

Значит, тогдашний порыв был верен и только рос в душе. И значит – действительно зовут. И подлинно – пора!



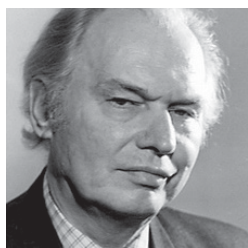
ЮБИЛЕЙНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ 2018

2 августа – 140-летие со дня рождения прозаика Михаила Львовича Премирова (2.08.1878, с. Ахматово Ардатовского у. Симбирской губ. – не ранее 1935, ?). Окончил Симбирскую духовную семинарию, Казанский университет (1914). Жил в Орске, в 1925 году вернулся в Ульяновск. Автор сборников рассказов «Немые дали» (1909), «Кабак» (1917), романов «Счастливый остров» (1923), «Женщина с утренней звезды», «Бескровный мир» и др. В 1935-м приговорен к 6 годам лагерей, умер в заключении. Реабилитирован в 1964 году.



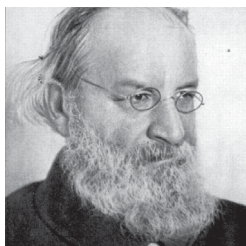
3 августа – 120 лет назад родился поэт и историк литературы Борис Иванович Коплан (3.08.1898, г. Санкт-Петербург – 9.12.1941, г. Ленинград). Окончил Петроградский университет (1921). В 1931-33 годах отбывал ссылку в Ульяновске и Мелекесе, написал стихи «Симбирск», «Мелекесские ноктюрны». Автор работ о Г.Р. Державине, А.С. Пушкине, Ф.М. Достоевском, И.А. Крылове, Н.А. Некрасове, А.Н. Радищеве, М.М. Хераскове и др. Изданы сборники стихотворений «Стансы» (1923), «Старинный лад» (2012). Умер в тюрьме.



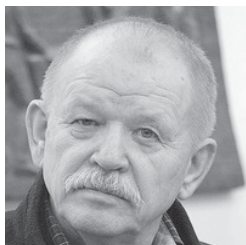
3 августа – 85-летний юбилей отмечает писатель Валерий Николаевич Ганичев (р. 3.08.1933, пос. Пестово Ленинградской обл., ныне город Новгородской обл.). Окончил Киевский университет (1956). Возглавлял Союз писателей России (1994 – 2018). Не раз бывал в Ульяновской области, участвовал в Пушкинском празднике поэзии в Языкове, был в Карсуне, Прислонихе. В марте 2003 года приезжал в Ульяновск на празднование 200-летия Н.М. Языкова. Лауреат литературных премий им. А. Грина, С. Аксакова, Ф. Достоевского и др.



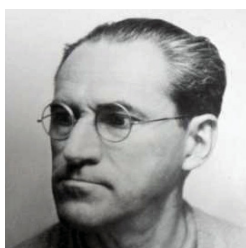
9 августа – 120 лет назад родился поэт и прозаик Василий Григорьевич Алферов (9.08.1898, с. Брусяны Сызранского у. Симбирской губ., ныне Ставропольского р-на Самарской обл. – 25.07.1988, г. Куйбышев, ныне Самара). В 1934 году участвовал в работе 1-го съезда Союза писателей СССР в Москве. Автор книг «Гульсума» (1933), «Пчелиная роща» (1940), «Идут мальчишки на рыбалку» (1969), «Стихи и песни» (1962), «Песенный край» (1981) и др. Не раз бывал проездом в Симбирской губернии и Ульяновской области.



15 августа – 155 лет со дня рождения кораблестроителя, механика, математика и литератора Алексея Николаевича Крылова (15.08.1863, сельцо Висяга Алатырского у. Симбирской губ., ныне д. Крылово Порецкого р-на Чувашской Республики – 26.10.1945, г. Ленинград). Свадьба его деда и бабушки состоялась в Симбирске. Академик АН СССР (1916), Герой Социалистического Труда (1943). Создал яркие очерки о жизни и деятельности П.Л. Чебышева, Ж. Лагранжа, И. Ньютона и др. Автор книги «Мои воспоминания» (1963).



15 августа – 80-летний юбилей отмечает поэт Геннадий Александрович Русаков (р. 15.08.1938, с. Новогольское Грибановского р-на Воронежской обл.). С младенчества жил с семьей у бабушки в г. Мелекес (ныне Димитровград). Работал в Министерстве иностранных дел СССР. Автор сборников стихов «Горластые ветры» (1960), «Время птицы» (1985), «Оклик» (1989), «Разговоры с богом» (2003) и др. Лауреат российской национальной премии «Поэт» (2014). Член Союза писателей СССР (1982). Живет в Москве и Нью-Йорке.



16 августа – 130 лет назад родился писатель, поэт, критик и художник Сергей Иванович Шаршун (16.08.1888, г. Бугуруслан Самарской губ., ныне Оренбургской обл. – 24.11.1975, г. Вильнев-Сен-Жорж, департамент Валь-де-Марн, Франция). В 1901 – 1907 годах учился в Симбирском коммерческом училище вместе с братом Николаем. Жил в Москве, с 1912 года – в Париже. Публиковался в литературном журнале «Числа». Автор автобиографических романов «Долголиков», «Путь правый» и «Яно грустнейший», повести «Заячье сердце» и др.



20 августа – 205 лет назад родился прозаик, драматург, поэт и мемуарист Владимир Александрович Соллогуб (20.08.1813, г. С.-Петербург – 17.06.1882, г. Гамбург, похоронен в Москве). Владелец с. Никольское-на-Черемшане Ставропольского уезда, ныне Мелекесского р-на Ульяновской обл. Бывал здесь в детстве, не раз приезжал позже, жил в 1849-50 годах. Автор многих рассказов и повестей, в т.ч. «История двух калаш» (1839), «Тарангас» (1845). В книге «Воспоминания» многие страницы посвящены Симбирской губернии и ее жителям.



22 августа – 160 лет со дня рождения великого князя, поэта и драматурга Константина Константиновича Романова (22.08.1858, Стрельна, пригород С.-Петербурга – 15.06.1915, г. Павловск). Внук российского императора Николая I. В 1889 – 1915 годах президент Петербургской академии наук. Не раз бывал в Симбирской губернии, в т.ч. 25-26 октября 1900 года, когда инспектировал кадетский корпус. Публиковался под инициалами К.Р. Поддерживал связи с И.А. Гончаровым, которому посвятил несколько стихотворений.



22 августа – 45-летие отмечает прозаик, переводчик и литературный критик Светлана Георгиевна Замлетова, настоящая фамилия – Макеева (р. 22.08.1973, г. Алма-Ата Казахской ССР). Редактор сетевого литературного журнала «Камертон». Автор нескольких книг, в т.ч. «Гностики и фарисеи». Член Союза писателей России. Посетила Ульяновск 26 апреля 2017 года, провела творческую встречу в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова. Награждена Почетной грамотой губернатора Ульяновской области. Живет в Москве.

24 августа – 205 лет назад родился литератор Андрей Дмитриевич Закревский (24.08.1813, с. Адоевщина Хвалынского у. Саратовской губ., ныне Радищевского р-на Ульяновской обл. – не ранее 1844, там же). Окончил Московский университет (1832), учился с М.Ю. Лермонтовым, был близок к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. Автор сатирической брошюры «О царе Горохе...» (1834), неопубликованного романа «Идеалист». По наследству стал владельцем села Адоевщина, похоронен здесь в семейной усыпальнице рядом с родителями.

28 августа – 130 лет назад родился священнослужитель, духовный писатель Александр Павлович Смирнов (28.08.1888, с. Криуши Карсунского у. Сим-



бирской губ., ныне не существует – 19.09.1950, г. Москва). Окончил Симбирское духовное училище и духовную семинарию. Служил в церквях Симбирска и Москвы. В 1941 – 1943 годах был в эвакуации в Ульяновске в составе служителей Московской патриархии. Автор книги «Патриарх Сергий и его духовное наследие». Был ответственным секретарем «Журнала Московской патриархии».

31 августа – 55 лет исполняется поэтессе Татьяне Владимировне Лотоцкой



(р. 31.08.1963, г. Луцк Волынской обл. Украинской ССР). Окончила Львовский политехнический институт (1984). С 1995 года живет в Ульяновске. Сотрудник Областной библиотеки для детей и юношества

имени С.Т. Аксакова. Публиковалась в местных журналах «Мономах» и «Симбирск». Автор сборников стихов «Я прошу тишины» (2001), «Встреча» (2007), «Доля» (2012). Член Российского Союза профессиональных литераторов (2001).



31 августа – 40-летний юбилей отмечает поэтесса Мария Валентиновна Шакун (р. 31.08.1978, г. Ульяновск). Первые стихи написала в 14 лет, публиковалась в газете «Ульяновская правда», журналах и альманахах «Карамзинский сад»,

«Литературный Ульяновск», «Мономах» (Ульяновск), «Берега» (Самара), «Черный вторник» (Н. Челны), в коллективных литературных сборниках. Автор изданных в Ульяновске книг стихотворений «Городские сны» (1998) и «Время ангела» (2002). Член Союза писателей России (2006).

490 лет назад родился князь, полководец, писатель Андрей Михайлович Курбский (1528, Русское государство – ?05.1583, Миляновичи, Волынское воеводство, Речь Посполитая). Ближайший приближенный Ивана Грозного. Во время похода на Казань в августе 1552 года прошел с войском через реки Сура, Барыш и Кивать (территория современного Сурского района Ульяновской области). Попав в опалу царя, сбежал в Литву. Автор сочинений «Сказ о логике», «Четыре письма к Грозному», «История Флорентийского собора» и др.

150 лет со дня рождения сказочника Ивана Георгиевича Патрижицкого (1868, ? – ?, г. Мелекес Самарской губ., ныне г. Димитровград Ульяновской обл.). Жил в Мелекесе, работал учителем. По утверждению его внучатой племянницы З.В. Коробковой, послал рукопись своих сказок в село Архангельское под Симбирском писательнице А.Л. Бостром – матери А.Н. Толстого, который позже якобы нашел их в семейном архиве, литературно обработал и издал под своим именем. Документальных подтверждений этому не найдено.

*Рубрику ведет
Николай Марянин,
поэт и краевед.*

ПОЭЗИЯ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

Борис КОШАН (1898 – 1941)

СИМБИРСК

ОТРЫВОК

Все разумно в подлунной природе:
Оттого я и духом не пал,
И служу на крахмальном заводе,
И не сетую: жизнь глупа.
Привыкаю в космическом плане
На судьбу человека взирать.
Волга течь никогда не устанет, –
Мне же время придет умирать.
Я умру не в Симбирске, конечно:
Жизнь (пусть трудная) – вся впереди.
Лишь бы совесть была безупречна
И любовь не иссякла в груди.
Часто путь моих мыслей мне странен,
И грядущее вижу во мгле.
Словно я в первобытном тумане

На заброшенной в космос земле.
Это тягостный след одиночки.
Но и он пройдет, как зима,
А теперь зеленеют почки
И весенний струят аромат.
Рано утром иду за Свяягу
На завод, а жена – на базар.
На реке серебристою влагой
Хорошо освежить глаза.
И отрадно домой возвращаться
(Пусть устала от цифр голова) –
Я не знаю большего счастья,
Как с любимыми бытовать.
Я решаю: изгнание – награда,
О какой я мечтать не смел.
И видение Ленинграда
Словно было мне только во сне.

Ульяновск, 1932

Василий АЛФЕРОВ (1898 – 1988)

ИВУШКА

Зорька золотая
Светит за рекой,
Ивушка родная,
Сердце успокой.

Только вспыхнет вечер
Звездами в саду,
Я опять на речку
К ивушке иду.

Были с милым встречи
У твоих ветвей,
Пел нам каждый вечер
Песни соловей.

Но ушел любимый,
Не вернется вновь:
Песней соловьиной
Кончилась любовь.

А я каждый вечер
Все чего-то жду
И туда, на речку,
К ивушке хожу.

Ивушка зеленая,
Над рекой склоненная,
Ты скажи, скажи не тая,
Где любовь моя?

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Не спеша зажигаются звезды,
Ветер стих и уснул в камышах.
И опять голубиные гнезда
Над окном моего этажа.

Я иду по знакомой тропинке,
Слышу ласковый шепот волны.
Даже в маленькой, робкой травинке
Пробудилось дыханье весны.

А вдали, у речного затона,
Загорелись рыбацьи огни.
Я люблю вас в наряде зеленом,
Золотые весенние дни.

Геннадий РУСАКОВ (р. 1938)

* * *

Ах, какое время оттремело!
Лживое, счастливое, мое...
Раздарило то, что не имело.
Все в кровище, а белее мела –
собирает медь на дожитье.
Как ни мажь ему ворота варом,
ни считай прорехи и нули –
все равно я жил его угаром,
обжигался веком-скипидаром
на моей одной шестой земли.
Все я помню: города и веси,

волгодоны, планы и гробы...
Бабка голодает в Мелекесе.
Я при деле, но легчаю в весе
на глазах у нищенки-судьбы.
Жизнь моя, ты здесь, в каком-то шаге...
Дотянусь и крикну: «Никому!».
Никому – парады и гулаги,
пятiletки, шкеты-бедолаги!
Все, что нажил, я с собой возьму.

* * *

Больно осень многодумна.
Больно весны тяжелы.
Зимы долги. Лето шумно,
словно слово «Чердаклы».
Росы пали на покосы.
Стали ночи коротки.
Философские вопросы
ходят-бродят у реки.
Как здесь музыка кипела!
Как здесь музыка текла!
Все умела, все успела,
отшустрила-отцвела.
Ах вы, Гендели-Бартоки
с Пендерецкими вприклад!
Ах, лирические строки,
невостребованный клад!
Никому-то вас не надо,
вы прыщавы и малы,
словно ранняя расада,
словно эти Чердаклы!

1957 **Владимир СОЛЛОГУБ (1813 – 1882)**

СЕРЕНАДА

Н.М. Языкову

Закинув плащ, с гитарой под рукою
К ее окну пойдем в тиши ночной
И там прервем мы песнью молодою
Роскошный сон красавицы молодой.
Но не страшись, пленительная дева,
Не возмутим твоих мы светлых снов
Неистовством бурсацкого напева
Иль повестью студенческих грехов.

Нет, мы поем и тихо, и смиренно
Лишь для того, чтоб слышала нас ты,
И наша песнь, как фимиам священный,
Пред алтарем богини красоты.
Звезда души! Богиня молодая!
Нас осветил огонь твоих очей,
И голос наш, на сердце замирая,
Любви земной не выразит речей.

Мы здесь поем во тьме весенней ночи;
Ты ж, пробудясь от шума голосов,
Сомкнешь опять мечтательные очи,
Не расслышав воззвания бурсаков;
Но нет... душой услышав серенаду,
Стыдясь во сне... ты песнь любви поймешь
И нехотя ночным певцам в награду
Их имена впросонках назовешь.

1830-е годы

ПЕСНЯ СТАРИКА

Ты помнишь, брат, те времена,
Когда с тобой на ратной службе
Одни родные знамена
Сзывали нас к горячей дружбе?

Теперь мы дожили зимы:
Глядим в отверзтую могилу.
Но схороним до смерти мы
В душе огонь и в дружбе силу.

Мы памятью одной живем
Теперь, мой друг, в немом покое,
И не гуляем мы вдвоем
В пиру штыков и в шумном бое.

Но если крикнет край родной,
Да про врагов опять нам скажет,
Тряхнем, товарищ, стариной,
И старина себя покажет.

1830-е годы

Константин РОМАНОВ (1858 – 1915)

И.А. ГОНЧАРОВУ

Венчанный славою нетленной,
Бессмертных образов творец!
К тебе приблизиться смиренно
Дерзал неопытный певец.

Ты на него взглянул без гнева,
Своим величьем не гордясь,
И звукам робкого напева
Внимал задумчиво не раз.

Когда ж бывали песни спеты,
Его ты кротко поучал;
Ему художества заветы
И тайны вечные вешал.

И об одном лишь в умиленье
Он ныне просит у тебя:
Прими его благодаренье,
Благословляя и любя!

Гатчина, 1887

* * *

О, если б совесть уберечь,
Как небо утреннее, ясной,
Чтоб непорочностью бесстрастной
Дышали дело, мысль и речь!

Но силы мрачные не дремлют,
И тучи – дети гроз и бурь –
Небес приветную лазурь
Тьмой непроглядною объемлют.

Как пламень солнечных лучей
На небе тучи заслоняют –
В нас образ Божий затемняют
Зло дел, ложь мыслей и речей.

Но смолкнут грозы, стихнут бури,
И – всепрощения привет –

Опять заблещет солнца свет
Среди безоблачной лазури.

Мы свято совесть соблюдаем,
Как небо утреннее, чистой
И радостно тропой тернистой
К последней пристани придем.

Стрельна, 1907

Светлана ЗАМЛЕЛОВА (р. 1973)

Переводы с болгарского
стихотворений Димчо Дебелянова

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Вспоминаю тебя, как любимую книгу,
день и ночь предо мною раскрыта она...
Средь лучей и цветов наслаждаюсь сполна,
безразличен я к мраку и к зимнему игу.

Там мечты пробуждает любая строка,
в свете солнца тону – золотом, необъятном,
ты ко мне прилетишь ветерком ароматным
и останешься рядом со мной на века.

Будем жить мы в стране, где покой не смущала
ни пустая молва, ни глухая печаль;
наши чувства прозрачны, как горный хрусталь,
и в коронах из звезд вечность нас обвенчала.

Средь лучей и цветов наслаждаюсь сполна,
не подвластна душа страха темного игу...
Вспоминаю тебя как любимую книгу,
день и ночь предо мною раскрыта она...

УТРО

Покой и мир – за бурей вслед
сменяет тьму безбрежный свет.
А над дорогой без забот
лучи играют хоровод.
Лежит дорога широка,
и реет птица в облаках.
Сегодня, лишь взошла заря,
поверил солнцу я не зря,
от света щедрого хмельной
иду по ниве золотой
и слышу, радостно-смущен,
мне утро вторит в унисон
дыханьем сладостным цветов:
она придет в конце концов...

* * *

Я чахну мучительно в логове скверном,
и солнце чуждаться привыкло меня.
Я с жизнью в разлуке и знаю наверно,
что горше разлука мне день ото дня.

Неужто во мраке молитва простая
отныне заглохнет, неужто тоска
в груди расцветет, и мечта золотая
во прах обратится ужель на века?

Татьяна ЛОТОЦКАЯ (р. 1963)

* * *

Пока звенят колокола
В живой душе моей,
Россия-матушка цела,
И я пою о ней!

Поля с ромашками и лес,
И радуги-мосты...
И льется жаворонка песнь
С небесной высоты.

Полынный запах чуть горчит
И отрезвляет плоть...
И, радуясь, с небес глядит
Улыбчивый Господь!

* * *

Благолепие и благодать
Я учусь на словах передать.
Только разве согласишься словам
Ощущенье тончайшее это,
Как из множества лучиков света
Созидается Божий храм?
В песнях птиц, в нежных красках зари
Говори со мной, Бог, говори!
Я себя растворю в тишине,
Чтоб Господь проявился во мне.
Он повсюду: в сверкании рос,
В криках чашек и в рокоте гроз,
И в слезинке росы на цветке,
В незабудке и в майском жуке...
Мир, в предчувствии тайны замри!
Говори со мной, Бог, говори.

* * *

Листья жгут в октябре.
Георгин во дворе,
Как фонарик, пути нам осветит.
И в прозрачной дали
Высоко журавли
Прокурлычат печально о лете.
Будут силы копить,
Чтоб опять ощутить
Запах сосен, берез, молочая...
И в родной стороне
Вдруг почудится мне,
Что и я с журавлями печалюсь.

Мария ШАКУН (р. 1978)

* * *

В чуть побуревшем золоте сезонном
Куда виднее антрацит ворон,
И в городе моем, от веку сонном,
Твое явленье – самый яркий сон.
Все так сине, прозрачно и прохладно
От осени, а может от речей,
Что суета уходит безвозвратно,
Как будто камень падая в ручей.
Скорей бы, что ли, замело дороги,
Пока в надежде на твои слова
В наш город не слетелись лжепророки,
Как ветром принесенная листва.
А ведь когда-то, было дело, в ясли
Смогли приехать только мудрецы,
И я боюсь – уж не минует нас ли
Твой тихий сглаз, вороний антрацит.

* * *

Избегая течений подводных,
Проплываешь по трем океанам,
Не внимая тропическим странам,
Не жалея о странах холодных.
Ты давно изучаешь тарифы
На квадратные метры эдема,
Это чья-то чужая проблема –
Без оглядки кидаться на рифы.
И водою к тебе не прибило,
И огнем не сманило поближе...
Если б знать, что тебя не увижу, –
Я бы точно тебя не забыла.

* * *

Дерево выросло. Дом построен.
Дальше – болота, дальше – трясина.
Мало кто на земле достоин
Зачать и родить твоего сына
В то время, как мир не то что бы болен,
Но одержим бесконечностью бега.
А впрочем, что стоит какой-то голем
Против сил моего оберега?

*Подборку составил
Н. Марянин*

